

ВОЛНА

ДУХ РАЗРУШАЮЩІЙ
— ДУХ СОЗИДАЮЩІЙ



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЦИИ
АНАРХО-КОММУНИСТИЧЕСКИХ ГРУПП

СО Д Е Р Ж А Н И Е :

Славное дело.
Венок на могилу П. А. Кропоткина.
Феномены морального упадка.
Новое в этике.
Диктатура и революция.
Великие идеи и "маленькие люди".
На ниве безвластной. (Стихотворение).
О классовой борьбе и классовости вообще.
Первое Международное Товарищество Рабочих.
Моление о свободе
Записи тюремные.
Отчеты и заявления.

ОТЧЕТЫ И ЗАЯВЛЕНИЯ.

ФЕДЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ ЗА АПРЕЛЬ 1924 г.

ПРИХОД:

За "В."

Ну — к	13.05
Порт Кол.	5.00
Ф — ия	10.00
Чи — го	6.25
Н. И.	9.00
Д. гр. № 1	6.50
Л. В — ич	1.00
Бр — рт	2.40
Д. гр. № 1	7.50
Гр — нт	1.50
Г — он	6.00
А — он	10.00
Ват — ри	19.65
Дет. гр. № 2	16.55
ст. ном. Н — пи	1.05
Ели — т	9.00

За литературу и фонд "В."

Чи — го (за литературу)	1.75
Мо — з (в фонд)	2.50
Д. гр № 2 (в фонд)	16.50

Итого — 146.10

Остаток с Марта месяца — 41.32

А всего — 187.42

РАСХОД (за тот же период):

Выпуск журн. № 52	159.00
Три клише	12.00

Пересылка 13.50

Мелкие расходы 1.80

Итого — 186.30

Общий приход — 187.42

Общий расход — 186.30

В кассе на май — 1.12

О П Е Ч А Т К И .

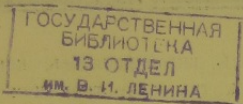
В номере 52-м "Волны", в статье Дельты "Анархизм и скептицизм", имеются следующие важнейшие опечатки:

Страница	Столбец	Строка	Напечатано	След. читать
10	1	7	снизу вселенной	всесильной
10	2	7	сверху Греции	Индия
11	1	3	сверху ничего	ничто
11	2	11	сверху мир	хаос
12	2	2	сверху незнание	сомнение
12	2	14	сверху из Элеи	из Элеи
13	1	8	снизу Кариссад	Карнеад
13	2	4	сверху рационализм	рационализм
13	2	12	снизу рассмотрим	разсмотрели
15	2	4	сверху создали	создаем
15	2	9	снизу Анянды	Анянды

На стр. 13, столбец 2, строка 1 сверху, после слов "нет ничего верного" пропущена следующая фраза: На этой точке зрения стоит и наш автор.

В номере 51-м "Волны" в статье П. Михайлова "Государство. Порядок и Нравственность" вклялись следующие опечатки:

- 1) Стр. 38-я, 1 столбец, напечатано "благоговеть", следует читать благовольт.
- 2) Стр. 38-я, 2 столбец, напечатано "безнравственность", следует читать безнравственности.
- 3) Стр. 39-я, первый столбец, напечатано "умышленный призыв к убийству", следует читать умышленный призыв к убийству.



64-185

СЛАВНОЕ ДЕЛО.

Одним из наиболее важных достижений человечества, без сомнения, является способность, так сказать, обективировать свою мысль, т. е. "отделить" ее от самого мыслящего, претворять в своего рода продукт и этот последний возводить в степень общего — открытого и всем доступного — достояния. Какими путями, при каких обстоятельствах это было достигнуто, — не подлежит в данном случае обсуждению; следует лишь отметить, что решающая роль в этом деле выпадает на долю того сложного механизма, который обыкновенно называется Печатным Словом или просто — печатью.

Печатное Слово в смысле "овеществления" мысли — незаменимая драгоценность.

Правда, печать теперь для нас не представляет ничего мудреного, ничего особенного, но это только потому, что она стала слишком обычной, слишком тесно вошла в круг жизненной обстановки. На каждом шагу мы встречаем Печатное Слово; каждая мелочь, каждая побрякушка носит печать печати... Отсюда — отенение величия и достоинства последней.

В самом же деле печать, по ее значению, можно поставить, не боясь преувеличений, на ряду с электричеством, радием и другими перлами человеческих достижений. Достаточно представить себе общество без печати, — понимая под последней не только книги, газеты, журналы и т. п., но и рукописи, т. е. общество, не умеющее ни читать, ни писать, а только говорить, хотя бы и по беспроволочному телеграфу, — чтобы убедиться насколько велико значение Печатного Слова и какой неоценимой сокровищницей оно является.

С культурно-исторической точки зрения это поистине один из тех "важнейших моментов", который не только обособляет человека от остальных существ, но и возносит его на высшую ступень культурного развития.

Для общей характеристики ход общественного прогресса можно представить в следующей произвольной схеме:

- а) способность мыслить самому;
- б) способность передавать свою мысль другим непосредственно (речь);
- в) способность передавать свою мысль другим посредственно (печать).

Отличительная особенность третьего этапа в том, что он, с одной стороны, значительно расширяет предел общения человеческой мысли, если можно так выразиться, а следовательно, расширяет и обогащает кругозор каждого человека в отдельности. Человеку становится доступным не только то, что он видит или слышит непосредственно, но и то, о чем он читает; точно также свои мысли он может передать не только своему соседу, непосредственно с ним общающемуся, но и человеку, находящемуся на почтительном от него расстоянии, а то даже еще и не родившемуся.

Словом, то, что на языке философии называется временем и пространством становится, по крайней мере относительно, беспредельным.

С другой стороны, возможность "овеществления" мысли как бы увековечивает, как бы окаймляет бессмертием духовную сторону человека. Последнюю фразу, разумеется, не следует понимать в смысле бессмертия души и т. п. религиозных предрассудков. Можно отрицать Высшее Существо, можно не верить в загробную жизнь, но нельзя не согласиться, что поскольку человек отражается в зеркале культуры, поскольку он вносит в культурную сокровищницу свою лепту, поскольку он бессмертен. Коперник, Виргил, Сократ и др. ведь давно умерли, а между тем их мысли, их идеи и по сей день живут. И живут, понятно, больше всего благодаря тому, что живет Печатное Слово. Не будь печати, мы не только не могли бы представить как жил и как думал, например, Аристотель, но даже Гоголь был бы для нас уже "мертв". Великий писатель (впрочем, в таком случае он и не был бы великим, так как, не умея писать, не мог бы быть писателем) умер бы для всего мира если не 21 февраля 1852 г., то со смертью пос-

леднего своего родственника или со смертью последнего знавшего его человека. Передача по памяти его жизни и деятельности продолжалась бы недолго. Два, три поколения — и нить оборвалась бы.

Но благодаря возможности "овеществлять" свои мысли — "отделять" их от своего бренного тела и "переводить" на бумагу — не умер не только Гоголь, но и вся та эпоха, в которую он жил, продолжает, вместе с ним, здравствовать. Читая его произведения, всякий живо представляет всю ту "обстановку", в каковой жил и работал творец "Ревизора" и "Мертвых душ". Бытовые условия, нравы и обычаи людей — все воскресает, все живет.

То же самое и относительно любой эпохи. При помощи печати сравнительно легко представить любой момент из истории: эпоха средневековых городов, эпоха Рима, эпоха расцвета Востока, — все может воскреснуть, ожить, глядя на страницы печати. Сотни, десятки сотен лет — не при чем. Время и пространство сглаживаются, сливаются в что то общее, целое. Самые отдаленные времена, самые ранние периоды кажутся близкими и "очевидными" при свете печати.

Печать — это поистине зеркало всей истории, всей жизни. В ней, как в зеркале, отражается не только внешний вид, но и внутренняя сторона той или иной эпохи, того или иного народа. И, быть может, в последнем смысле особое назначение печати, ибо здесь становится явным и ясным то, чего аршином не измерить и на весах не взвесить.

* * *

Жизнь, выливаясь в известные формы, неустанно прилаживает, пригоняет к этим формам и все то, что так или иначе имеет значение в жизни. То резко и быстро, то медленно и незаметно совершается это, быть может, вынужденное прилаживание, быть может, невольное приспособление в направлении общей гармонии и согласованности. Какая то особая сила влечет к известной общей точке, не позволяя особенно далеко отставать или отлетать в стороны.

Не избавилась от этой "ассимиляции" и печать. Под влиянием общего хода вещей, она

неизменно развивалась, видоизменялась, как в форменном отношении, так и в отношении существенном. Форменная сторона достигла огромных пределов, разбилась на множество отделов и подразделений, самого разнообразного характера. Существенная сторона тоже значительно усложнилась, разнообразилась и переплелась самыми пестрыми цветами задач и назначений. Тут и обман и лицемерные цели; тут и деловитость и бесцветные строгости; тут и пошлость и нископробные намерения; тут и возвышенность и чарующие порывы; тут и красота и обаятельность; тут и томление и "крик души"; тут и... да и можно ли перечислить все те существенные назначения, каковые заключает в себе печать... В таком случае пришлось бы перебрать всю гамму жизненных переливов, ибо самая малейшая особенность, самое тончайшее оттенение находит отражение в печати.

Одно только с несомненностью можно констатировать: это поразительное преобладание чисто служебных назначений печати над назначениями самодовлеющими. Печатное Слово в огромном большинстве случаев служит самым обыкновенным средством и, лишь в незначительных случаях является само-целью.

Плохо это или нет, но вина в этом, разумеется, не печати; это — результат современной эпохи, плод современного уклада жизни. Наше время, как известно, слишком "практично", слишком утилитарно, и очень чуждо всякой идеализации, всякого благоговения. Взгляд и оценка всего производится не с точки зрения достоинства или величия, а исключительно с точки зрения непосредственной немедленной выгоды. Создалась даже особая мерка, особый критерий — польза, леденящего дыхания которой ничему не избежать. Всякое явление, всякая идея прежде всего ввергается в железную ступу вот этого критерия и — или превращается в обыкновенный предмет выжимания пользы, или совсем погибает под тяжелым толкачом.

Печать, как это видно, постигла первая участь; она не погибла в железной ступе испытания; напротив, блестяще выдержала жестокий экзамен и тем самым заняла одно из выдающихся мест в жизненном концерте. Пожинатели

жаты современной эпохи прекрасно учли сущность и значение печати и благосклонно впрягли ее в свою колесницу, в надежде, что она "вывезет" и с лихвой оправдает их лукавые замыслы и чаяния. И не ошиблись: печать, служа им, не только умножает и увеличивает их благосостояние, но и является прекрасным громоотводом во время грозных туч. Миллионы людей, читая только буржуазную печать, мыслят в плоскости буржуазной логики и, естественно, не видят простейших истин. Печать ловко скрывает от них сущую правду, ловко ведет их по пути подхалимства и слепого повиновения.

Впрочем, это так общеизвестно, что и распространяться об этом много не приходится. Следует лишь повторить, что вина во всем этом не печати, как таковой. Есть такие обоюдоострые вещи, которые одинаково могут быть полезны добру и злу, и — что особенно характерно — могут приносить добро пропорционально учиняемому ими злу. К числу таких вещей принадлежит печать. Вред от нее в наше время велик, но не меньшая может быть и польза, если ее вытащить из ямы пошлостей, омыть и поставить на должную высоту. Главнейшая суть здесь заключается в том значении, какое печать имеет в жизни, независимо от того, в какой форме это значение проявляется. Форма — явление производное, зависящее от направления дующего ветра, а потому и не так важно, — важна сама сущность, т. е. в данном случае неоспоримое значение печати в жизни.

Нужно ли еще настаивать, что, желая иметь то или иное влияние на ход жизни, стремясь придать жизненным формам известный вид, необходимо прежде всего располагать вот этим могущественнейшим орудием? Все это слишком ясно и без всяких наставлений свидетельствует, что ключ и остов всего — печать. Имея печать, всегда применимы слова поэта:

"Не страшат тебя громы небесные,

А земные ты держишь в руках."

"Держать" печать, значит, держать в своих руках все земные громы.

* * *

К общим заслугам, анархисты в вопросе оценки и учета сущности печати всегда были

на высоте своего призвания. Печать анархистами всегда оценивалась по заслугам (оценивалась, разумеется, не с коммерческой точки зрения, а с точки зрения истинного назначения печати), и ей всегда уделялось должное внимание. Все заботы, все помыслы направлялись прежде всего в сторону печати, и направлялись с чистым материнским радением.

Да оно и вполне понятно. Человек, достигший высот анархизма, быстро ощущает острую потребность в печати: во-первых, его бунтарский дух ищет ответа на тот или иной вопрос, ищет силы и подкрепления, во-вторых, он жаждет высказать свои думы и мнения, стремится поделиться своими мыслями и впечатлениями. В обоих случаях печать для него так же необходима, как необходим хлеб или кислород. Поэтому вполне естественно, что на столе у каждого анархиста можно видеть, в том или ином виде, Печатное Слово и что анархистам совершенно непонятно отсутствие своего печатного органа при наличии хотя бы самого незначительного однородного течения.

В последнем отношении анархисты неподражаемы: в деле создания периодической печати они гораздо опередили многие другие течения и разветвления общественной мысли, особенно если сообразоваться с наличием сил и средств. Там, где у других партий, при известном количестве сил и средств, будут лишь мечты и пожелания относительно печати, у анархистов, при равном наличии сил и средств, таковая, вне всяких сомнений, будет уже существовать.

Способствует этому прежде всего принцип личной инициативы, дающий возможность всем анархистам заботиться о печати, и не допускающий самой малейшей энергии оставаться в потенциальном виде. Не меньшую также роль играет здесь совершенное отсутствие традиционной специализации и "ремесленности", а также полное слияние личных интересов с интересами общими. У других партий, как известно, каждый человек в деле издания печати выполняет одну строго определенную работу, при чем он смотрит на нее больше всего как на ремесло, дающее ему возможность существовать. Само собой понятно, что цель в таких случаях заключа-

ется не в самой работе, а в получаемом за нее вознаграждении.

У анархистов совсем иначе: традиционная специализация и "ремесленность" им чужды. Ни чуть не новость видеть у анархистов одно и то же лицо в исполнении роли редактора, роли наборщика, роли корректора, роли экспедитора и т. д. Таких явлений очень много в истории анархизма, и такие явления возможны только у анархистов, где "фаунтэн пен", фартук наборщика и щетка для наклеивания адресов являются лишь отдельными видами одной целой работы. Об отмежевании личных интересов от интересов общих при таком состоянии дела, разумеется, не может быть и речи. Как все виды работы в конечном итоге сливаются в одну общую цель, так и интересы — личные и общие — соглашаются и сливаются в один общий аккорд. Если же иногда и случается поглощение одних интересов другими, то недолгои всегда падают на долю личных интересов.

Читатели анархической печати, в свою очередь, являются не только читателями, но и полноправными создателями. Они пишут в свои органы, вносят те или иные поправки, указывают на те или иные недочеты, — словом, заинтересованы в каждой стороне дела и принимают полное участие в разрешении каждого вопроса, так или иначе относящегося к органу. К тому же каждый читающий анархическую печать, отлично сознает, что печать существует не только для него, как читателя, но что ее задачи гораздо шире и что он является одним из проводников этих задач.

Все это вместе и создает ту благодатную почву, на которой легко появляется и быстро развивается анархическая печать. То же благородное чувство общности интересов, которым проникнуты анархисты, побуждает каждого из них заботиться о своей печати, независимо от того где она издается, что делает анархическую печать богатой по содержанию и разнообразной по теме вопросов.

"Нет вопроса, начиная с самого незначительного и кончая вопросом чреватых трудностями и полными ответственности, — говорят проф. Г. Покколи, — о котором бы не говорили журна-

лы и газеты анархистов". И далее добавляет: "Несмотря на необыкновенно пылкий и горячий тон заметок, вы будете поражены необыкновенно тщательным, детальным и документальным изложением фактов". Только при полном незнании с анархизмом можно думать, что анархическая печать является узко-догматичною; что она все факты выворачивает на известный лад и толкует их каким-то особым "страшным" образом.

Поставив принципом своей деятельности справедливость, анархисты строго блюдут этот принцип и в печати. Они прежде всего заботятся, чтобы их печать освещала факты детально, правильно; чтобы она была живой, интересной и разнообразной. И в этом отношении анархическая печать достигла таких высот, что ей "может позавидовать всякая другая партия, так как свежести и широте хроники движения соответствует заметное число сотрудников, компетентных по самым наиболее важным экономическим и политическим проблемам". (Покколи "Анархизм" стр. 317).

И в конечном результате такой постановки дела, — анархическое движение, на протяжении всей своей истории, богато пересыпано роскошными лепестками печати, в виде книг, брошюр, газет, журналов и т. п.

* * *

Не являются исключением из этого общего уровня и русские анархисты в Америке.

Попав волею судеб в страну, где "борьба за существование" поистине представляется в таком виде, в каком рисовал ее английский ученый — Т. Гоббс, т. е. где каждый старается "когтем и зубом" захватить как можно больше благ, и где существуют специальные законы против анархистов, — русские анархисты все же не растерялись в этом горниле и первым долгом приступили к изданию своей печати. Несмотря на незнание в большинстве случаев языка, несмотря на скромные силы, несмотря на малое знакомство с условиями страны и не взирая на ожидающие со всех сторон козни, — была основана анархическая печать на русском языке в Америке, которая, под разными видами и названиями, продолжает существовать и до ныне.

О трудностях, о терниях пути, по которому приходилось продвигаться молодой анархической печати, — говорить не приходится. Политические условия каждой страны для анархической печати общезвестны: клики, железо да яд. Но в Америке, где падали даже церковные, субсидируемые правительством, органы ("Русский Эмигрант", "Русская Земля"), кроме политических препон, существовала еще одна неблагоприятность. По своему географическому местонахождению Америка, естественно, не могла быть убежищем для русских анархистов. Бежавшие из России анархисты большей частью оставались в Европейских странах; в Америку же пробирались лишь немногие. Следовательно, "готовых" анархистов могло быть немного, а "обращать" не так то легко было.

Русская колония довоенного периода состояла главным образом из элементов, не поддающихся "обращению". Люди приезжали в Америку большей частью неграмотные, с целью сколотить сотню—другую долларов и опять возвратиться в свою деревню. Всекие социальные вопросы были им совершенно чужды, а следовательно, непонятна и газета, особенно газета идеального направления со "страшными" лозунгами. Достаточно было пообедать в убогом русском ресторанчике, где нибудь на Генри стрите, и прислушаться к разговорам русских колонистов, чтобы убедиться какакая "каменистая" в то время была почва для печати. Обычными разговорами были: письма "из краю", работа, жалование да "зафундуй". О печати же никто никогда не упоминал; все это казалось ненужным, лишним, и человек с газетой являлся объектом насмешек и шуток.

Вот в такой то атмосфере анархической печати и приходилось прокладывать путь.

Однако анархическая печать и здесь проявила удивительную живучесть: она не только не заглохла, но ознаменовалась быстрым темпом развития. Ежемесячные издания превращались в еженедельные, еженедельные — в ежедневные, и в 1919 г. анархическая печать достигла таких пределов, что опередила всю русскую печать в Америке. Существовало три органа ежедневный, еженедельный и ежемесячный...

Достичь таких результатов, "перепрыгнуть" в несколько лет от маленького ежемесячного издания к трем большим органам, — успех, какого только можно ожидать.

И не даром вашингтонское правительство в своем погромном походе на "красных" в русской колонии прежде всего обратило свое внимание на анархическую печать; не даром Палмер главный свой гнев излил на анархистах и их печати. Повод для этого был и, разумеется, не "красная опасность", а иной. Большевизм явился лишь простым предлогом, о чем свидетельствует тот факт, что в первую очередь подверглись разгрому не большевистская печать и не большевистский "посол", Мартенс, а выступающие против большевиков анархисты. Простая логика говорит, что главная суть заключалась в самих анархистах, — в их успехе. Такой дивный рост печати, какой переживала в 1919 г. анархическая, такой колоссальный ее успех мог привести в бешенство любое правительство. И вашингтонское, конечно, не оказалось исключением.

Трудно предполагать каких размеров достигла бы анархическая печать, если бы не приспопояманные ноябрьские погромы 1919 г. Но несмотря даже на эти погромы, анархическая печать в Америке покрыла себя венком неуваждаемой славы и еще раз подтвердила, что пути анархизма неисповедимы, что если кто в наше время и может творить чудеса — так это анархисты. Начав с сравнительно маленького, еле заметного, они в несколько лет потрясли все идолы земные и небесные, всколыхнули дворцы и палаты.

... Действительно что то стихийное, что то "анархическое", присущее только анархистам.

* * *

Когда прокатилась по всей стране кровавая палмеровская колесница и опустошила потом и кровью добытые достижения, то казалось — все погибло, все покончено. Более способные, более опытные товарищи были схвачены и выброшены из страны; организации разгромлены; дела терроризированы... Там, где прежде шумным ключем билась струя жизни, — царил тишина да тихие вздохи. Там, где прежде кипела дружная работа и творилось великое дело, — стучала по-

лицейская дубинка да сыпалась отборная брань надменных охранников капитала. Там, где прежде "рождалась" и откуда с быстротой сокола разлетались во все стороны анархические органы, — красовались запекшиеся на стенах и на полу широкие пятна крови да валялись обломки разгромленной мебели. Кругом была ночь и смерть, смерть и ночь...

И вот в эту тяжелую годину, в эту кошмарную ночь, под свист нагайки и под шипенье врагов рабочего народа, словно из под земли выросла небольшая книжка, на обложке которой гордо реяло черное знамя и красовались огненные буквы «**ВОЛНА**». Появление этого юного дерзателя было встречено различно, но большей частью скептически.

Погибнет, не устоит против реакции, — говорили обычно скептики. Находились и такие, которые отрихивались, как кисейные барышни и фыркали.

Однако начатое дело продолжалось. Каждый месяц появлялись новые книжки журнала, со страниц которых веяло искренней верой и сердечной преданностью своему делу. Эта искренность и беззаветная преданность, несомненно и вынесли "Волну" из всех бурь и непогод, и поставили на более-менее прочную почву. Не будь такой преданности, не будь такой веры в правоту своего дела, "Волна" имела бы все шансы на скорый покой.

Прежде всего "Волна" не являлась "результатом долгих чаяний", как это рекомендуют себе некоторые другие органы, — это была кричащая необходимость, самая неотложная задача. Пришлось сейчас же, сию же минуту спустить шлюпки и грести, ибо корабль шел ко дну. Помимо такой поспешности и отсутствия всякой подготовки, подпольная работа неизбежно сопряжена и с иными трудностями. В подполье все приходится делать намеками, знаками и урывками. Благо, если для этого есть достаточно досуга и навыка. Но какой мог быть досуг у людей, проводящих ежедневно по 8—10 часов на фабрике и не только прежде не работавших подпольно, но вообще мало принимавших участия в издательском деле?

А между тем реакция не оставляла своего

грязного дела. Наемные слуги капитала — шпики всячески старались напасть на след отважного дерзателя, пронюхать его местонахождение, и им иногда, по крайней мере частично, это удавалось.

Приходилось все время лавировать между подводными рифами и укрываться от бурь. Трудности были на каждом шагу — одна другой грознее. И только благодаря тому самоотвержению, на которое способны только анархисты, все преграды можно было преодолевать. Только благодаря многим бессонным ночам, проведенным некоторыми товарищами совершенно безвозмездно за наборной машиной или за версткой набора, журнал "Волна" мог регулярно выходить вот уже пятый год.

Распространяться много в этом направлении не приходится, — хотя это и не лишено известного интереса, — следует лишь отметить, что этим ярким примером русские анархисты в Америке еще раз доказали какое значение для них имеет Печатное Слово и на какие подвиги они в этом отношении способны.

Но, конечно, это еще не предел...

Читая в № 52 нашего журнала проект и решение нью-йоркской группы о дне рабочей печати, чувствуется что то гораздо большее, гораздо возвышенное. Чувствуется, что русские анархисты в Америке нынешнее состояние своей печати в Америке не считают конечной целью, а лишь связным пунктом, опорной точкой для будущего, для дальнейшего.

Говорить, пророчить о будущем анархической печати, быть может, и гадательно, но во всяком случае молодые побеги срубленного Пальмером древа Анархии не могут остановить свой славный рост на какойнибудь точке. С каждым разом "молодняк" будет становиться все выше и выше, все крепче и крепче. С каждым годом он будет обогащаться все новыми и новыми листьями, на его ветках будут цвести все новые и новые птицы.

Решение нью-йоркской группы лишь скрепляет, лишь подтверждает все это. Поступок группы поистине можно назвать славным делом для славного дела. Нет ничего отраднее, как иметь свою собственную печать, где можно без всякого

намордника делиться своими мыслями, своими радостями и горем; где можно укрепиться, ободриться, отдохнуть, освежиться и хоть на минуту забыться от тяжелого ярма и невзгод.

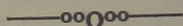
Бесспорно, русских анархистов в Америке никто не может упрекнуть в нерадении или небрежном отношении к печати, — в этой плоскости анархисты сделали великую работу, — но с другой стороны, едва ли входит в задачи анархистов почивать на лаврах достигнутого. Пусть книжное дело поставлено хорошо, пусть печать заметно улучшилась, пусть журнал "Волна" достиг известной ценности, но это еще не предельная точка, это еще не все. Впереди еще много,

горизонты широки и возможности неограниченны. Есть еще к чему стремиться, есть еще чего желать.

В частности журнал "Волна" находится лишь в первой стадии своего улучшения и в этом направлении предстоит еще большая и достойная работа.

А поэтому ничего другого не остается, как только присоединиться к постушку нью-йоркской группы и от души пожелать, чтобы он оказался на высоте своего назначения и чтобы в самом ближайшем будущем были видны его осязательные результаты.

Май. 1924 г.



ВЕНОК НА МОГИЛУ П. А. КРОПОТКИНА.

В. Худoley.

(Доклад, который по вине автора не был прочитан надлежащим образом на вечере 8 февраля 1924 года, посвященном памяти П. А. КРОПОТКИНА).

Современный коммунистический анархизм неразрывными узами связан с именами двух великих людей — Петра Алексеевича КРОПОТКИНА и Михаила Александровича БАКУНИНА, которым он обязан своим теоретическим обоснованием. Бакунин, будучи организатором анархической партии, заложил прочный фундамент, на котором Кропоткин воздвиг научное здание дивной красоты и стройности, никем не превзойденное до сих пор.

Источником коммунистического анархизма послужили общинно-артельные начала русской деревни, перенесенные Бакуниным в мощное движение международного пролетариата конца 60-х г. г. прошлого столетия. Остатки первобытного коммунизма, сохранившиеся в общинных началах русской деревни, оплодотворенные духом классовой ненависти обездоленных ко всей буржуазной цивилизации, легли в основу анархического учения, которое подвергло уничтожающей критике все устои старого мира — государство, частную собственность, религию, старую этику, семью, систему воспитания и т. д.

Сущность общинных начал выражена в требовании "каждому по его потребностям", находя-

щем свое яркое выражение в пределах земли между членами, сообразно числу едоков в каждой семье и в кооперировании, т. е. в добровольном объединении, труда своих членов для всех целей, требующих этого объединения.

Коммунистический анархизм распространил общинный принцип перераспределения орудий и средств производства между членами, сообразно потребностям каждого, на все отрасли промышленности, давая ему всеобъемлющее значение и требуя уничтожения монополии на все богатства, накопленные трудом настоящих и предшествующих поколений рода человеческого.

А так как техника промышленного производства, в отличие от сельского хозяйства, не допускает единоличного пользования орудиями труда, то коммунистический анархизм выдвинул на первый план кооперативное, артельное начало, имеющее второстепенное значение в сельском хозяйстве. Он требует перераспределения орудий и средств производства не в единоличное, а в общественное, групповое пользование.

Принцип свободного соглашения, заложенный в основе артельных начал, получил особенно важное значение в программе коммунисти-

ческого анархизма.

Право свободного слияния и разделения организаций, войдя в повседневную жизнь анархического общества, должно в точности соответствовать по своему значению пределам земли в общине, предотвращая даже самую возможность возникновения какой-либо монополии.

Такова по существу была программа, созданная творческим умом **Бакунина** в последнее десятилетие его героической жизни. После смерти **Бакунина** на передовом посту встал **Кропоткин**, который разработал и углубил основы коммунистического анархизма, дав ему гениальное обоснование.

При разработке экономического учения анархизма, руководящей нитью **Кропоткину** служил принцип первенства потребления, составляющий сущность общинных начал, принцип "каждому по потребностям". Поэтому, исходя из предпосылки, что необходимо "поставить потребности людей выше их дел" (1), **Кропоткин** пришел к выводу, что "наука политической экономии... должна поставить себе целью изучение все растущих потребностей общества и различных средств, употребляемых для их удовлетворения" (2).

Идея первенства потребления выделяет экономическое учение анархизма среди других течений социалистической мысли. "Отсюда понятно — говорит **Кропоткин**, — почему мы приходим к заключениям столь отличным в некоторых отношениях от тех, к которым приходит большинство экономистов, как буржуазных, так и марксистских, — почему мы не признаем "законами" некоторые соотношения, указанные ими, — почему наше изложение социализма отличается от ихнего" (3), почему экономическое обоснование анархизма отличается своеобразием.

Из идеи первенства потребления вытекает прежде всего учение о том, что ценность хозяйственных благ или услуг определяется соотношением между потребностями и средствами их удовлетворения. "Ценность предмета, по отношению к его полезности, — говорит **Кропоткин** — зависит... от той степени, в которой он нужен для удовлетворения действительных и наиболее насущных нужд" (4). Эта теория ценности ложится

в основу экономического учения анархизма.

Став на точку зрения теории предельной полезности **Кропоткин** решительно выступает против трудовой теории ценности. "Когда экономист говорит нам, что ценность товаров измеряется количеством труда, общественно-необходимого для их производства (см. Рикардо, Прудона, Маркса и многих других), мы не принимаем это утверждение, как абсолютно верное, потому что оно сказано такими авторами, или потому, что нам кажется "чертовски социалистичным" говорить, что труд есть истинное мерило ценности товаров" (5). "Меновая" ценность и количество труда именно не пропорциональны друг другу: одно никогда не измеряет другое" (6). Ценность определяется не трудом, а важностью для удовлетворения потребностей.

Многообразные человеческие потребности всегда располагаются лестницей, в порядке убывающей важности каждой из них в данный момент. Чем больше средств удовлетворения потребностей, тем больший круг потребностей может быть удовлетворен и тем выше стоит на лестнице последняя из них, которая может быть удовлетворена из данного запаса экономических благ. Наоборот, чем меньше средств удовлетворения потребностей, тем меньше количество их может быть удовлетворено и тем ниже стоит на лестнице последняя из подлежащих удовлетворению.

Последняя из удовлетворенных потребностей, представляющая пределы довольства человека при данном соотношении потребностей и средств удовлетворения их, и определяет предельную полезность данного экономического блага для человека. А так как начинают удовлетворение потребностей с наиболее важных и существенных, то ясно, что предельная польза определяется наименее важной потребностью из числа подлежащих удовлетворению (7).

На первый взгляд рабочему кажутся совершенно безразличными все споры экономистов о том, чем определяется меновая ценность товаров — предельной полезностью или количеством труда. Им, конечно, нет никакого дела до теории ценности тех хозяйственных благ, которыми капиталисты обмениваются между собою — угля, железа, машин и т. д.

Но эти учения приобретают совершенно другой, более глубокий и животрепещущий смысл, когда мы вспомним, что в капиталистическом обществе все, решительно все, начиная с угля, железа, машин, хлеба, колбасы и т. д., и кончая "рабочими руками", мозгами, талантами и даже человеческим телом, — все это становится предметом купли-продажи, становится товаром.

Цена труда, т. е. заработная плата, которую платит рабочему капиталист, тоже определяется соотношением между потребностями и средствами их удовлетворения. По этому признаку современное общество делится на два класса: монополистов хозяйственных благ, которые имеют в избытке средства удовлетворения потребностей, и обездоленных, которые лишены их и не имеют возможности нормального удовлетворения своих потребностей.

Власть человека над человеком служит источником монополизации средств удовлетворения потребностей. Открытое насилие, прямые и косвенные налоги, наконец, законодательным путем установленные концессии и монополии — вот, что нарушает общинные, коммунистические принципы распределения общественных благ по потребностям, создавая богатства монополистов на одной стороне и нищету и разорение для обездоленных — на другой ("Современная наука и анархия", главы о современном государстве).

Обездоленные, лишённые монополистами средств удовлетворения потребностей, принуждены продавать им свой физический или умственный труд за бесценок. "Миллионы и миллионы мужчины, женщины и детей — говорит Крпоткин, — постоянно принуждаются под угрозой голода продавать свою свободу, отдавать свой труд хозяину на тех условиях, на которых он пожелает заставить их работать" (8). Таким образом, продолжает он — "те, кто ничем не владеет, делаются рабами тех, кто владеет" (9).

Благодаря насилию господствующих классов над обездоленными, предельная полезность общественного дохода каждого из них (заработной платы одних и прибыли других) неодинакова. Заработная плата не всегда обеспечивает существование, а прибыль обеспечивает сытое довольство и роскошь. Это различие в предельной

полезности общественного дохода каждого класса служит источником классовой борьбы обездоленных за перераспределение экономических благ согласно потребностям.

Обездоленные, актами единоличного и массового протеста, выражают свое недовольство существующей системой распределения средств удовлетворения потребностей. Поэтому, классовая борьба не заглухнет до тех пор, пока не будет уничтожена монополия и пока средства удовлетворения потребностей не будут распределены согласно потребностям каждого, обеспечивая "довольство для всех".

Таким образом, Крпоткин, исходя из теории предельной полезности, связывает воедино общинные начала русской деревни с бунтарским движением международного пролетариата, осмысливая в то же время эту связь, опытным путем установленную Бакуниним.

Идея первенства потребления служит основой экономической политики и программы анархического коммунизма. "Отправляясь от потребностей личности, мы непременно придем к коммунизму, как наиболее полному и экономическому средству для удовлетворения всех нужд человечества" — говорит Крпоткин (10). "Коммунизм — общественная организация потребления" — говорит он (в "Письмах о текущих событиях"), имея в виду, что производство служит средством для удовлетворения материальных потребностей. Этот принцип служит руководящей нитью при перестройке народного хозяйства после анархической революции.

"В политической экономии — говорит Крпоткин — следует, прежде всего изучать главу с потреблением, а в революции первым делом ее будет перестройка потребления таким образом, чтобы пища, одежда, жилище были обеспечением для всех" (11). Все производство делится на две обширные группы — производство средств потребления (пища, одежда, жилище) и производство средств производства (угля, железа, машин, всего и т. п.), которые служат средством для производства предметов потребления. Поэтому, первой задачей анархической революции после перераспределения всех богатств, т. е. всеобщей экспроприации, должна быть орга-

низация производства средств потребления и уже второй — производство средств производства.

Хозяйственный аппарат капиталистического общества должен быть разрушен до основания. Монополисты организуют народное хозяйство в своих корыстных интересах, совершенно пренебрегая потребностями обездоленных классов населения. Благодаря этому — говорит **Кропоткин** — "все наше производство принимает ложное направление. Промышленный предприниматель не заботится о увеличении барышей его единственная цель — увеличение барышей предпринимателя. Отсюда постоянные колебания промышленности и хронические кризисы, из которых каждый выбрасывает на улицу сотни тысяч рабочих" (12).

Таким образом, ряд отраслей промышленности окажется ненужными для анархического общества (военная промышленность, временно — предметы роскоши и т. д.), другие отрасли, обслуживающие наиболее насущные потребности обездоленных, должны будут расширить свое производство. Могут возникнуть и совершенно новые отрасли промышленности.

Старая капиталистическая система производства должна быть разрушена до основания. Она была приспособлена для извлечения прибылей монополистами и резко противоречит потребностям населения. Анархическая коммуна должна строиться снизу вверх, начиная с союзов потребителей, организующих собственными силами производство средств потребления (общины, — о которых **Кропоткин** говорит в книге "Хлеб и Воля"). "Федерации таких союзов потребителей организуют производство средств производства. Таким образом, в анархической коммуна организации потребления будет служить основой для организации производства и последнее будет вестись применительно к потребностям обездоленных.

Руководящие принципы экономической политики анархического общества должны быть совсем иные, чем буржуазного общества. Борьба капиталистов из-за монополизации рынка побуждает их придерживаться политики концентрации капиталов и разделения труда. Умственный труд отделен от физического, а физический ра-

зделен на сельскохозяйственный и промышленный, причем последний разделяется на большое число узко-специальных профессий, порабащающих душу и тело рабочего.

Анархизм, в целях приспособления народного хозяйства к потребностям обездоленных, политике концентрации капиталов противопоставляет децентрализацию промышленности.

"Прогресс лежит в производстве для собственного потребления" (13) — говорит **Кропоткин**. Принцип децентрализации промышленности имеет в виду более или менее равномерное распределение ее по всему лицу земли. Фабрики и заводы должны быть превращены в мастерские, исключая те редкие случаи, когда концентрация вызвана техническими условиями, и каждый район должен стремиться к самостоятельному обслуживанию своих потребностей в продуктах промышленности (14).

Другим руководящим началом экономической политики анархизма должна быть идея интеграции труда.

"Первое основание всякого дальнейшего развития... общества есть разнообразие занятий" — говорит **Кропоткин**. "Если в самые часы работы будет возможно работать в разнообразных отраслях производства... то этим достигнется... возможность расширить свои личные способности во всех направлениях" (15). "Хотя временное разделение труда остается пока вернейшей гарантией успеха в каждом отдельном предприятии, тем не менее, постоянное разделение должно исчезнуть и замениться разнообразною деятельностью: умственной, промышленной, земледельческой... и т. д." (16).

Принцип интеграции труда при разделении его во времени должен уничтожить прикрепление человека к одной профессии на всю жизнь. Работая в земледелии, в разных промышленных мастерских и сочетая их с умственной деятельностью, соответствующей вкусам и склонностям каждого, человек перестанет быть вечным каторжником, прикованным цепью к своей профессиональной точке. Он впервые станет личностью.

Проведение принципов децентрализации промышленности и интеграции труда уничтожит существующее ныне противоречие между горо-

дом и деревней. Город каменный со скученным населением, вырождающимся благодаря неблагоприятным условиям существования, как равно и деревня, с ее притупляющим однообразием жизни, должны раствориться в системе городов-садов, около которых, сгруппированы разнообразные мастерские, сады, пашни, огороды и т. п. Идеал Крпоткина совпадает с идеалом предшественника анархизма — Шарля Фурье, который мечтал о роскошных фаланстерах, окруженных садами, огородами и мастерскими, где работают их обитатели, меняя занятия через короткие промежутки времени.

Далее, рост машинного производства, при наличии интеграции труда, приведет человечество не к освобождению труда уже, а к освобождению от труда. "Развитие техники... даст человеку возможность освободиться от рабского труда" — говорит Крпоткин (17). Машина возьмет на себя труд тяжелый и однообразный, а человек станет свободным художником, получающим такое же наслаждение от своей творческой деятельности, какое получали в средние века некоторые ремесленники-художники (18). Таковы основные положения экономического учения П. Крпоткина и некоторые вытекающие из них выводы.

Не только друзья Крпоткина, но даже и враги его принуждены признать, что в его учении анархическая мысль достигла своих вершин. Другие течения анархической мысли, поскольку они не принимают целиком экономического учения Крпоткина, представляют собою нечто недоразвитое, половинчатое, представляя себе лку между его учением и или буржуазными учениями (индивидуализм), или марксизмом (сциентизм).

В наши же дни экономическое учение Крпоткина служит той неприступной крепостью, опираясь на которую анархизм не только отстает свою независимость, но и завоевывает свое будущее. Для нас оно является той путеводной звездой, руководствуясь которой мы никогда не рискуем сбиться с прямой дороги, ведущей нас к наиболее возвышенным и красивым идеалам, когда-либо стоявшим перед взором истстрадавшего человечества.

Экономическое учение Крпоткина составляет бессмертную его заслугу перед настоящими и будущими поколениями рода человеческого и представляет тот культурный памятник, тропа к которому не заростет, пока в человеческой груди будет биться горячее сердце.

П Р И М Е Ч А Н И Я :

- 1) "Хлеб и Воля", 126 стр. Изд. Моск. Федер. Анарх. Групп, 1917 г.
- 2) "Совр. наука и Анархия", 97 стр. Изд. "Голос Труда".
- 3) Там же 97 стр.
- 4) "Хлеб и Воля", 135 стр.
- 5) "Совр. наука и Анархия" 94 стр.
- 6) Там же 95 стр.
- 7) "Вещь, которая у нас уже имеется, мы оцениваем по той потере, какую причиняет ее лишение, следовательно, — по последней из тех потребностей, удовлетворение которой обеспечивалось прежде. Вещь, которой у нас нет, мы оцениваем, наоборот, по тому приращению пользы, которое достигается ее приобретением, т. е. по важнейшей из всех потребностей, которые мы уже не могли бы больше удовлетворять при нашем прежнем имущественном положении". (Бен-Баверк — "Основы теории ценности хозяйственных благ" 51 стр.). Ценность орудий и средств производства определяется ценностью производимых при их помощи продуктов, но не всех, а предельных, т. е. наименее важных, но необходимых.
- 8) "Совр. наука и Анархия", 202 стр.
- 9) Там же 204 стр.
- 10) "Хлеб и Воля".
- 11) Там же 110 стр.
- 12) Там же 16 стр.
- 13) "Поля, Фабрики и Мастерские".
- 14) По вопросу о децентрализации промышленности, см. анархические работы:
 - А. Карелин — "Политическая Экономия".
 - В. Черкезов — "Доктрины марксизма".
 - И. Хархардин — "Крпоткин как экономист".
- 15) "Хлеб и Воля", 142 стр.
- 16) "Поля, Фабрики и Мастерские", 18 стр.
- 17) "Этика", 4 стр. Изд. "Голос Труда".
- 18) Идею замены труда творчеством защищает Оскар Уайльд (см. "Душа человека при социализме"), Вильям Моррис (см., "Вести ниоткуда") и некот. др.

ФЕНОМЕНЫ МОРАЛЬНОГО УПАДКА (1).

Луджи Фабри.

Никогда еще не говорилось так много, как в настоящий момент — особенно между латинскими народами — о "возрождении моральных ценностей"; несмотря на это мы переживаем исторический период, в котором все моральные ценности, — плод вековой духовной эволюции человечества — растоптаны ногами с отталкивающими и ужасающими индифферентностью и цинизмом.

Не знаю с каким историческим периодом прошлого нужно сделать сравнение. Некоторые из нас делают сравнение с периодом, наступившим вслед за 1815-м годом, когда триумф Священного Союза в Европе имел последствием новое научное процветание мистицизма на поверхности и большую моральную коррупцию в действительной жизни.

Но сравнение имеет значение до известной степени и то почти исключительно в политическом смысле. Моральный упадок не был тогда ни таким глубоким, как теперь, ни столько распространенным. Германский народ, перед тем как быть отравленным милитаризмом и победами 1866 и 1870 г. г., был в центре Европы пространством огнищем идей и морально до того здоров и развит, как никакой народ теперь в мире.

Джузеппе Мадзини, отчаявшись в господствовавшем тогда духе во Франции, питал, наоборот, большие надежды на будущее Европы в лице Германии. Сама Франция, впрочем, страдала от довольно относительного упадка, который был не чем иным, как усталостью вследствие громадного и продолжительного усилия и множества пролитой, во время революции и империи, крови.

Италия, вышедшая вполне обновленной из упопительной бани эфемерных республик 1799 года и итальянского царства, зубрила, под влиянием германской палки, урок усилия, жертвы и упования на свои собственные силы — т. е. то, чего она, при очень легких победах с чужой помощью, не сумела бы понять. И в принудительном молчании заговоров, среди рисков, тюрем

и виселиц оформлялся моральный характер поколения, написавшего эпопею 1848 года. Реакция, которая в силу исторической логики не могла не притти к великим наполеоновским войнам, имела только временный успех. Даже христианский романтизм, который в искусстве и литературе был отражением тогдашней духовной реакции, сохранил известные моральные чувства, которые были семенем последующего возрождения. Священные гимны Монцони предвещали бунтарским гимнам Бершета; "Мученики" Шатобриана предвещали "Отверженных" Виктора Гюго.

Действительно, надо иметь в виду тот факт, что тогда буржуазия была в своем восходе и факторы развала раз'едали ее только поверхностно. Теперь, напротив, разврат, плод войны, раз'ел организм до упадка, который имел уж в себе худшие тенденции морального растления. Кто может вспомнить времена перед войной, тот знает, что это растление тогда еще началось. Буржуазия сохраняла еще известные, внешние формы, соблюдала приличия, избегала шумных излишеств; но внутренняя добродетель, — которой она в своем возрождении воодушевлялась и благодаря которой она выиграла столь много побед, — была уж не чем иным, как литературным и риторическим воспоминанием.

Сейчас она цинично пародирует своими мерзостями, отбрасывает всякий стыд, насилует и топчет ногами чувства и моральные принципы, которым она когда то поклонялась, хотя и в либеральном. Ее можно сравнить с женщиной, давно уж начавшей протитигуировать, но делавшей это с предосторожностью, стараясь сохранить себе доброе имя, признающей в действительности, что совершает она зло и поэтому его скрывает, но которая в известный момент может, — павшая уж и морально, или раскрытая неожиданным и шумным скандалом, — не только кончить тем, что бы открыто продаваться публично, но и превозносить свою гнусную жизнь и издеваться, возбуждая половые желания, бессрамно насмехаясь над всяким чувством стыдливости и женского достоинства. Мы видим также, как гос-

(1) Перевод с болгарского перевода, помещен. в журнале "Свободно Общество", кн. № 10—12.

подтвужющие классы, которые не останавливаются ни перед какой безнравственной и безчеловечной гадостью, чтобы защитить свои привилегии власти и богатства, шпуг убежище, шпигу, или какое бы то ни было прикрытие своим деяниям, в религии так же, как проститутка ходит в церковь с надеждой омыться от грязи разврата. Но в то время, как эта несчастная может быть и искренней и вера, в действительности, может успеть очистить ее душу, — чтобы она хоть на минуту могла забыть свою жизнь, полную нравственных терзаний. — те преклоняются перед алтарями только для того, чтобы взобраться еще выше, зовут на помощь пона, не веря его словам и являясь скептиками в полном смысле этого слова.

Цинизм одних и ложь других только взаимно дополняются. Генерал, который в Ренании расстреливает невинных, или обирает дома с корыстной целью (реквизиция, совершаемая генералом), издающий приказ, чтоб в публичных домах имелись немчулки для чернокожих, — ходит с подобающей торжественностью в кафедральный собор. Те же самые газеты, которые ласкают Ватикан и желают поднять "духовные ценности", преподавая в училищах католицизм, насмеваются уличным языком над муками и болью всех побежденных и угрожают огнем и железом всякому, обладающему некрой человеческого достоинства, или апеллирующему к тем чувствам толерантности и возвышенного братства, которые были знаменем ихнего Христа.

Сабли и ряссы, натайки и требник гуляют в Италии, как союзники, — так же, как от 1815 г. до 1870 г. А феномен этот манифестируется и вне Италии, где он — не менее впечатлителен, хоть и в ином виде.

Последние английские выборы, в которых консерваторы были биты, побуждают многих людей строить себе иллюзии относительно их последствий. Но интересно, что эти результаты заставили задуматься консерваторов и реакционеров и у нас. При таком упадке, естественно, мы не оттолкнем луч надежды, если таковой серьезно дают английские выборы; но это — праздные иллюзии и даже опасные. Не говоря уж о специальном положении Англии, которая мо-

жет десятки и десятки лет сохранить относительно либеральный режим тогда, когда вся Европа является добычей желаний Меттерниха, — ясно, что в этих выборах бита одна буржуазная фракция в пользу другой, которая, если возьмет власть, будет немного менее консервативной, — как можно судить по ее прошлому, — нежели первая.

Впрочем, современная Англия не есть уж та старая и благородная Англия, которая с крайним оптимизмом воспевалась хорошо принятым изгнанником, нашим незабвенным *Pietro Gori*. Она не может воевать даже безнаказанно. Цепелины и аэропланы пускали над Лондоном вместе с бомбами и газы, которые более отравляли душу, нежели тело, а миллионы английских солдат вернулись с бельгийского и французского фронта не менее зараженными той болезнью, от которой претендовали полною вылечить германцев.

Чтобы видеть как даже между таким — прослывшим уравновешенным — народом, как английский, война может вызвать ужасную моральную неуравновешенность и пробудить дикаря в человеке, столь трудно цивилизовавшемся, достаточно привести один анекдот, рассказанный мне одним приятелем, недавно вернувшимся из Англии. Когда спросили одного любезного и культурного человека, профессора по филологии, по возвращении его с бельгийского фронта, — какое самое приятное впечатление он вынес оттуда, — он ответил: "Самое большое удовольствие я испытал, когда вогнав штык в тело неприятеля, я вынул его оттуда весь окровавленным!".

Можно себе представить какое ужасное влияние оказала война на психологию народов, лишенных реалистического чувства, присущего англичанину. За исключением отдельных индивидуумов с возвышенными душами, одаренных крайней чувствительностью, одновременно морально сильных и устойчивых, — у которых война вызвала возвышеннейшие чувства милости и человечности, — над большинством людей привычка убивать и постоянный риск, возбуждавший самый материалистический и эгоистический дух консервативности, естественно, не могли иметь

морализующего влияния. Это ужасное влияние было усложнено искусственной, духовной атмосферой, созданной во всех странах литературой, школой и печатью, под влиянием которых новые поколения поглощали отраву войны без малейшего даже сопротивления. Таким образом народы, жившие было самой интенсивной жизнью и со свободной мыслью до 1914 года, теперь приравнены к испанским, — который почти три века не имеет истории, достойной своего имени, и в науке, искусстве, литературе и философии живет более чем скромной жизнью — отражением жизни в Париже, Лондоне и Берлине; сравнены с народом, среди которого в 20-м веке могли возобновиться инквизиторские ужасы 16-го века. Не место здесь рассматривать исторические феномены дегенеративного характера, выступившие во время войны, как русский большевизм, итальянский фашизм, французское империалистическое безумие и разные формы сумасшествия и отчаяния между побежденными народами, — о каждом из которых не одну статью, а несколько томов нужно было бы написать. Я рассматриваю мелкие факты, те которые более всего доступны для наблюдения каждому и может быть потому и менее извращены и которые, к великому сожалению, быстро начали сходиться за самые обыкновенные.

Одно, что навевает истинную тоску, так это индифферентное, скептическое поведение новой молодежи, во всех странах, перед самыми болезненными и важными проблемами нашего времени. Хорошему наблюдателю видно было, даже в бурный период после войны, что интерес к революционному делу у молодежи был вообще очень бледным, или крайне импульсивным. Наоборот, многие видели в возможной революции возможность сместить господ, чтобы самим поуправлять немного. Это и есть одна из причин того, что идея диктатуры пролетариата была столь приманчивой, т. е., идея эта была привлекательной именно потому, что обещала пролетариату период абсолютной власти. По той же причине так много молодежи так легко перешли к фашизму в тот день, когда стало ясно, что час победы еще далек и что ударил час страданий, жертв, опасений и голода.

Я не хочу обидеть молодежь, которая все же осталась верной обьявившим ее идеям в конце войны, или немного после нее, но она, должны согласиться, что даже вместе с теми, которые привлечены насильно, она все-таки представляет меньшинство. Громадное большинство сторонников разных оппозиционных партий, крепительниц теперешних институтов, оставшихся верными своим идеям, состоит из людей, имевших сформировавшееся мнение еще перед войной. Этим я не хочу сказать, понятно, что вся молодежь находится на стороне теперешних институтов и является врагом свободы. Нет! И те, которые перешли туда составляют меньшинство. Но жалко, именно, того, что большинство молодежи не интересуется ничем, что оно — без идей, увлекается больше всего спортом и заботится прежде всего о том, чтобы чувствовать себя хорошо, развлекаться и черпать материальные удовольствия в полном смысле этого слова. Говоря это я имею в виду специально рабочую молодежь, как бы она ни была далека от революционных, социалистических и анархических идей, даже перед войной.

Учащаяся молодежь не имела даже и противоположных идей, за исключением одного меньшинства и то незначительного: война заняла было у них место всякой другой веры и поглотила все их время, все их мысли, препятствуя им получить правильные воззрения на жизнь. И это то и привело к болезненному явлению перехода к фашизму стольких студентов в первое время: они в нем видели только средство воевать внутри страны, так-как не могли бы этого сделать на фронте.

С окровавленных фронтов в тыл дул ветер насилия и права сильного. Кто побеждает штыком или ружьем — на его стороне право! И так одни думали, что благодетельствовали пролетариат, другие — отечество, посредством силы; но победами и одних и других, благодетельствовалась исключительно и эгоистически одна каста, одна партия, одно ничтожное меньшинство — если можно назвать благодетельствованием привилегию власти, — которое сумело восторжествовать в ущерб всем, — там, в России, во вред даже самому пролетариату, тут, в

Италии, — даже самому отечеству.

Из всего этого, однако, не извлекли, видно, никакого урока, так как насилие одних питает в других желание противоположного насилия — и не только насилия, освященного, как право самозащиты и освобождения, но и другого, ужасного, насилия репрессий, угнетения, замещения одной тирании другой.

К сожалению, успех оправдывает всякое дурное действие, и для реабилитации этой старой теории выдумывались новые, благородные слова; выступали снова неморальные и противоморальные парадоксы Ницше, Барреса и Д'Анжю; реальность возвысили в культ, как будто все то, что происходит, должно согласоваться с нашей совестью. "Назвали прагматизмом — говорил Сорель — последнюю степень, которой достигла буржуазная мысль; эта философия прилагает отлично всякому ариvistу, который желает быть принятым в снисходительном свете, благодаря своему подлизыванию, своей болтовне, цинизму своего успеха". Эта философия, которая перед войной выглядела не чем иным, как интеллектуальным спортом немногих ученых по профессии, к сожалению, положена искусственно в основу целого народа, и с исходной точкой, хоть и прикрито, или несознательно, во всем этом умственном направлении, которое ложно присвоило имя идеализма.

Сколько итальянцев, произносящих постоянно имя Джузеппе Мадзини, не знают, что его великая слава, — более великая, чем политические и религиозные формулы, не переходящие границ своего времени, своей школы или своей партии, — лежит в понятии, которое он имел относительно долга человека, жизнь которого является миссией борьбы и жертв за добро, независимо от хода событий и их успеха. Его величие, представляющее венец из вечной поэзии, обязано тому обстоятельству, что он был побежденным и пораженным до конца своей жизни, не желая победить, чтобы не разделиться со своей идеей и не попасть в руки отвратительной реальности, в которой торжествуют неправда, ариvизм и самые низкие материальные аппетиты. Все же этот высоко-моральный урок оказал влияние на все подрастающее поколение, покуда

были живы воспоминания об итальянских революциях первой половины прошлого столетия. Непреклонность характера, гордость своими мнениями, чувство человеческого достоинства, ненависть ко всякой низости, независимый дух, согласование мысли с действиями, вера в данное слово, толерантность по отношению к мнениям других, непоколебимость в отношении своих, — были добродетелями, каковыми действительно не все обладали, — но которые все уважали, даже в своих противниках. Теперь, напротив, у многих людей, даже из самой близкой к нам среды, вкоренилось убеждение, что такие добродетели ничего не стоят и являются пред-рассудками и странностями.

Мне кажется, что именно это неуважение указанных человеческих добродетелей, — которые лучше всего отличают мыслящее и одаренное чувствами существо от животных, свободного человека от раба, — есть лучший признак морального упадка современного общества и то не только привилегированных и управляющих меньшинств, осужденных, рано или поздно, на вырождение, но также и сил, держащих в объ-ятиях своих близкое будущее. Чтобы спасти будущее, чтобы отклонить события в другую сторону, в направлении величайшей правды и свободы людей, нужно моральное оздоровление среды, нужно, иначе говоря, употребить орудия для разрушения и материалы для переустройства, которые находятся в прямом отношении, а не в противоречии, с нашими освободительными целями. Мы, конечно, не имеем намерения впасть в утопизм некоторых, имеющих смелость претендовать на то, что можно сделать людей добрее перед тем, как будет изменен общественный порядок; большинство людей не станут лучшими и не будут воспитаны в духе свободы, покуда более свободное общество не даст им возможности для этого. Необходим, однако, минимум морального сознания, без которого всякий опыт политического и морального оздоровления и обновления — невозможен и бесплоден.

Необходимо, с одной стороны, в большинстве народа, независимо от партий и их программ, создать враждебное настроение против множества низостей и подлостей, к которым он сегодня

столь снисходителен, и развить тенденцию признания высокой ценности человеческого достоинства. С другой стороны — и без этого второго условия мы с трудом достигнем первого — все те, которые посвятили себя идее социального и политического обновления, все те, которые избрали место в борьбе против сегодняшних неправд, против настоящего социального беспорядка, — являющихся плодом привилегий власти и богатства, — чтобы старались победить в себе все дурные влечения, которые в других желают искоренить, и, чтобы отклонялись больше всего, — в своем желании преследовать, — от подражания и присвоения варварских методов, ко-

торые-то, именно, и развращают и деморализуют наших врагов.

Иначе, получится нечто, подобное тому, что случилось в последнюю великую войну с государствами, которые воевали за уничтожение прусского милитаризма и которые, едва успев победить последний, оказались сами большими милитаристами и пруссаками, чем самый неприятель... Будет навязано — даже если счастье им и улыбнется — что, впрочем, довольно проблематично — создание какого-нибудь нового режима неправды и тирании, который несколько не будет лучше старого.

НОВОЕ В ЭТИКЕ.

Вопросы этики (а также и гносеологии) являются в истории человеческой мысли теми вопросами, которые занимают всегда в этой области самое важное, самое центральное место. Они занимают это место не только по своей важности, но занимают его также и по своей сложности. Кто только не писал о нравственности? Писали, кажется, все, кто только мог писать. Писали философы и ученые; писали религиозные проповедники и государственные деятели; писали поэты и беллетристы; писали даже многие политические филистеры, дилетанты и болтуны. Этим вопросам посвящено таким образом много книг и статей, много поэм и романов. В последнее же время эта громадная этическая литература обогатилась еще одним оригинальным произведением. Этот новейший труд принадлежит перу великого человека и анархиста П. А. Кропоткина *).

Книга Кропоткина занимает в этой громадной литературе какое то особое место. Очень жаль только, что Кропоткину не удалось довести до конца свою оригинальную работу: она была оборвана Смертью. Ему удалось написать то-

лько краткий исторический обзор (тоже несколько не законченный) нравственных учений. Самая же важная часть этой работы — **часть теоретическая** — так и осталась не написанной. Перед нами имеется таким образом не система, не философия этики, а имеется только некоторая история нравственной мысли.

Если бы эта работа являлась только простым и объективным изложением разных учений о нравственности, тогда она и не представляла бы для нас, пожалуй, никакой ценности. И без этой книги имелось бы в нашем распоряжении много подобных работ. Но книга Кропоткина не является в данном случае только простым изложением разных учений. В этой книге мы знакомимся и с точкой зрения автора, хотя и не совсем детально, благодаря чему, быть может, многие мысли и положения его и кажутся нам несколько странными, спорными и непонятными. И, может быть, только поэтому мы и не можем согласиться с ним в некоторых отношениях.

Свою этическую систему Кропоткин думал построить на началах естествознания, на началах позитивизма. "Мы стремимся установить нравственные начала, — говорит Кропоткин, — как проявление эволюции, согласные с законами физическими, биологическими и социальными". Задача Кропоткина сводится, следовательно, к созданию "этики реалистической". Следу-

*) П. А. Кропоткин. "Этика". Том I. Происхождение и развитие нравственности. Издание второе. Издана Издательской Комиссией при Рабочем Союзе "Самообразование". Нью Йорк. 1923. Стр. 254.

ет, конечно, сознаться, что одно уже это стремление делает автора оригинальным и интересным. Опыт создания (если только это возможно логически) этой (реалистической) этики не принадлежит, конечно, целиком Кропоткину. О нравственной природе человека говорили некогда стоики, говорили Сократ и Аристотель, говорили об этом также и представители естественной теории права; подобные же мысли блестяще развивал некогда и французский философ Ж. Ж. Руссо. Правда, эти учения нельзя назвать строго реалистическими; они являются в такой же степени учениями и рационалистическими. Они вытекают скорее всего не из изучения природы, а из изучения социальной жизни. Если бы мы захотели дать более точное определение этим учениям, то их следовало бы называть в этом случае социально-нравственным оптимизмом.

Наряду с этим многие ученые нашего времени производили много исследований в области нравственного в природе. Но все эти опыты и исследования приводили их к чему то противоположному: эти исследования приводили ученых к тому, что они начали отрицать в конце концов всякие нравственные начала в природе. Многие из них, как, например, дарвинисты, начали убеждаться в том, что природу следует почитать только как некоторое "громоздкое поле битвы, на котором видно одно истребление слабых сильными и наиболее ловкими, наиболее хитрыми". Все существующее, с этой точки зрения, ведет какой то "гладнаторский образ жизни". На почве этого учения о жестокой борьбе за существование появился и звероподобный Сверх-Человек Фридриха Ницше, и полуживотное классовое учение, которое проповедовал некогда Маркс. Нет ничего нравственного, с этой точки зрения, нет ничего священного. Все человеку дозволено. Право и справедливость на стороне того, у кого крепкие когти и острые зубы. И только в лучшем случае некоторые из этих ученых становились на точку зрения социфистов, для которых нравственность и безнравственность имели только относительное значение, и находились таким образом "по ту сторону добра и зла".

Нельзя было думать, следовательно, о существовании нравственности в природе; нельзя было думать также и о том, что ту или иную систему этики можно построить на началах естествознания. Поэтому, быть может, не только философы-идеалисты, но и многие ученые-материалисты начали говорить впоследствии о сверх-природном происхождении нравственности. Природа — безнравственна. Она является продуктом материальной космической эволюции. Всякая же материя является только материей. И было бы слишком наивно говорить о том, что этой материи свойственны какие то нравственные начала (чувства любви, сострадания, жалости, справедливости). Следовательно, нравственность имеет какое то другое происхождение. Но если бы этих нравственных начал не было даже и с этой точки зрения, отсюда не следует еще делать те выводы, что и человек должен быть безнравственным. Если бы природа учила человека только злему, если бы и в самом человеке не было никакого нравственного сознания, то и в этом случае нельзя было бы примириться с этими жестокими и бессмысленными законами природы, а необходимо было бы создать (даже выдумать) нравственные понятия, что мы и находим до некоторой степени в праве, являющемся в сущности некоторым минимумом этических норм и взаимоотношений. Такова была точка зрения некоторых идеалистов.

Если Кропоткин говорит нам, что "начиная со времен древней Греции вплоть до настоящего времени, метафизическая философия находила высоко-талантливых последователей", то это не объясняется, очевидно, любовью их к идеализму, а объясняется, повидимому, большей убедительностью и состоятельностью нравственно-идеалистической философии. Если человек является сторонником того или иного учения, то он является таковым совсем не потому, что это учение является идеалистическим или материалистическим; он является его сторонником потому, что оно кажется ему более истинным и достоверным. Трудно, ведь, представить себе человека, который был бы идеалистом или материалистом только потому, что ему нравится идеализм или материализм. Нельзя влюбиться в науку, нельзя

влюбиться также и в философию. Нельзя поэтому думать, как думают иногда об этом религиозные атеисты, что идеалистическая философия является служанкой теологии, и что философы идеалисты, как думают об этом некоторые анархисты, оказывали своим учением какую то сознательную услугу господствующей Церкви, Власти и Государству. Эта точка зрения не выдерживает никакой серьезной критики, так как то же самое можно сказать и о материалистах, а главным образом об органистах.

Кропоткин понял ошибки и недостатки позитивистов, он понял также и значение религиозного сознания человечества, на котором строятся иногда целые великие исторические эпохи. В таких великих народных движениях, как, например, движения Альбигойцев, Гуситов, Моравских братьев, Анабаптистов, мы находим глубокое духовное пробуждение человечества, стремившегося, как говорит и Кропоткин, "не только очистить христианство от той накипи, насадившей на него вследствие светской власти духовенства, но и изменить весь общественный строй в смысле равенства и коммунизма".

Само собою разумеется, что Кропоткин не находит истинного прогресса во всяком идеалистическом и религиозном движении человечества. Он отрицает всякое учение о прогрессе, основанное на началах идеализма и метафизики. Вполне понятно, таким образом, почему и учение о нравственности он старается перенести из идеалистической плоскости в плоскость реальную и конкретную. Начала научные, а не метафизические, должны являться следовательно, основами всякого нравственного учения. И эти нравственные начала существуют, по его мнению, только в Природе. "Природа, — говорит он, — может поэтому, быть названа первым учителем этики, нравственного начала для человека". Что же является для него нравственностью? — Начала взаимопомощи, равенства и справедливости.

В этой реалистической этике нет ничего законченного, нет ничего должного (в противоположность Канту), нет ничего абсолютного. Она также изменчива и динамична, как изменяя и динамичен весь исторический процесс (физиче-

ско-социальный). "Тот самый факт, — говорит Кропоткин, — что каждая новая система могла внести (в этику) новый и важный элемент, уже доказывает, что наука о нравственных побуждениях далеко еще не сложилась. В сущности даже можно сказать, что этого никогда не будет, так как новые стремления и новая сила, созданная новыми условиями жизни, всегда придется принимать в соображение по мере дальнейшего развития человечества". Вот вследствие этой относительности реалистической этики, ни одна позитивистическая система быть может и "не смогла удовлетворить даже образованную часть цивилизованных народов". Не смотря на то, что в конце XIX века мы видели великие открытия в области естествознания, с этого же момента мы наблюдаем, как говорит об этом и Кропоткин, какой то "определенный возврат к идеализму".

"Отсутствие поэтического вдохновения в позитивизме Литтра и Герберта Спенсера и их неспособность дать удовлетворительный ответ на великие вопросы современной жизни; узость некоторых взглядов, которою отличается главный философ развития Спенсер; мало того, — тот факт, что позднейшие позитивисты отрицают гуманитарные теории французских энциклопедистов 18-го века, — все это способствовало сильной реакции в пользу какого то нового, мистически религиозного идеализма". Нам кажется, что этого объяснения еще не достаточно. Развитие этого идеализма кроется, очевидно, в чем то другом. Этот возврат к идеализму объясняется, вероятно, той относительностью реалистической этики, которая рассматривалась позитивистами не как некоторое духовное и абсолютное начало, а как некоторые нравственные инстинкты, на которых нельзя, по мнению идеалистов, строить никакую этическую систему. Этика, построенная позитивистами на началах инстинкта, не может считаться идеалистами даже наукой о нравственности, ибо в ее основу положены не начала разума или мышления, а некая подсознательная сущность, которую можно называть и волей, и интуицией и инстинктом. Вполне понятно, следовательно, почему эта этика "нам не указывает строгой линии поведения".

Это противоречило бы ее органической сущности.

Не следует забывать также и того, что утверждением этой этики отрицается ее автономность и независимость; должна отрицаться, следовательно, и свобода воли. "Наши понятия людей о нравственности, — говорит Кропоткин, — вполне зависят от того, в какой форме сложилось их общежитие в данное время, в данной местности. Основано ли оно на полном подчинении центральной власти — духовной или светской — на самодержавии или на представительном правлении, на централизации или на договорах вольных городов и сельских общин, основана ли экономическая жизнь на власти капитала или на трудовом начале, — все это отражается в нравственных понятиях людей и в учениях о нравственности данной эпохи". Даже больше того: "этика всякого общества, — говорит Кропоткин, — бывает отражением установившихся в нем форм общественной жизни". Вот в этом то положении и кроется, повидимому, величайший трагизм органическо-реалистической этики. С точки зрения теории органической эволюции эта теория нравственности является, конечно, вполне естественной и логичной. С точки же зрения идеалистической философии (и социологии) подобное учение о развитии нравственности почти ничем не отличается от того дарвинизма-марксизма, против которого Кропоткин написал в своих других работах довольно много блестящих страниц. А ведь подобное учение о развитии нравственности и является в сущности тем **историческим материализмом**, против которого боролся так Кропоткин. Здесь уже не сознание определяет бытие, а бытие определяет сознание. Под этим утверждением подпишется с удовольствием каждый марксист.

Разбирая учение о нравственности известного дарвиниста Гексли. Кропоткин говорит нам, что Гексли не нашел в природе никаких нравственных начал. В действительности же мы видим, что нравственный процесс все таки существует. И этот нравственный процесс не является в нашей жизни чем то второстепенным и незначительным. Наоборот: он занимает в нашем сущес-

твовании какое то первостепенное место. В нас проявляются чувства любви, сострадания, жалости и сочувствия, чувства равенства, справедливости и солидарности; в нас проявляются иногда чувства самопожертвования не только "ради сохранения вида", но и ради других, более возвышенных, нравственных целей. Даже больше того: не испытывая лично никаких страданий, мы знаем иногда, что многие люди страдают; знаем об этом даже тогда, когда это относится к страданиям духовным, а не физическим. И всякое **сознание** этих страданий отражается точно так же в нашем духовном сознании, заставляя нас таким образом переживать уже не свои страдания, а страдания ближних и дальних. "В сознании мук есть горечь мукам равная", — говорит где то Софокл в одной из своих бессмертных трагедий о царе Эдипе.

"Но где корни, — спрашивает Кропоткин, — где начало этического процесса? Он не мог родиться из наблюдения природы, так как, по утверждению Гексли, природа учит противоположному; и он не мог быть унаследован из до-человеческих времен, так как среди скотоподобных животных, раньше появления человека, не существовало этического процесса даже в зародыше. Его происхождение, стало быть, лежит **вне природы**". "Он имеет сверх-человеческое, мало того — сверх-природное происхождение". Таковы мысли Гексли.

Кропоткин не может в данном случае согласиться с Гексли. Правда, и он утверждает, что основы органической нравственности — общительность, равноправие и справедливость — являются еще не достаточно прочными. Признать все это "основными началами нравственных суждений мешают до сих пор хищнические инстинкты, сохранившиеся у людей со времени первобытных ступеней их развития". Здесь и Кропоткин не отрицает того, что человек, как некоторая **материальная**, а не духовная, сущность ведет иногда борьбу за существование "свойственную тигру и обезьяне". Тем не менее, все таки существуют нравственные начала в природе. И все эти начала "вырабатываются таким образом по мере совершенствования животного", а следовательно и человека. Здесь

Кропоткин учитывает также и значение религиозных факторов, вносивших в человеческую этику новый элемент "придававший ей некоторую стойкость, а в последствии вносивший одухотворенность и некоторый идеализм".

Мы видим таким образом, что, при всем своем отрицательном отношении к религиозному сознанию, Кропоткин сам нам указывает на значение этих могучих религиозных факторов. Что же касается Буддизма и Христианства, то эти великие религиозные учения составили, как мы знаем, самые величайшие эпохи во всей мировой истории; с этим согласен также и Кропоткин. Не понятно нам только одно: чем объясняет он это великое нравственно-религиозное сознание человечества, так ярко проявившееся в этих учениях? На этот вопрос Кропоткин не дает нам, к сожалению, ответа. Во всяком случае, это великое пробуждение человечества нельзя считать, по видимому, простым продуктом органической эволюции. Кропоткин предвидел также, что ему будет задан и следующий вопрос: "Возможно ли, чтобы из полуживотной общительности могли развиться (вернее, появиться) такие высоконравственные учения, как учения Сократа, Платона, Конфуция, Будды и Христа, без вмешательства сверх-природной силы?" И на этот вопрос Кропоткин не дает нам ответа.

Само собою разумеется что ни в коем случае нельзя отождествлять истинное учение Христа с теми религиозными учениями, которые проповедают ныне официальные христианские церкви. Это относится также и к Буддизму. В сущности же, можно с уверенностью даже сказать, что и в раннем Христианстве, и в раннем Буддизме нет еще истинного учения этих великих Учителей. Эти полные, истинные учения, являющиеся учениями эзотерическими, известны, очевидно, только некоторым тайным сообществам. Мы знаем, например, что Христос имел не только явных учеников, но и учеников тайных, мы знаем также, что Христос имел тайные беседы и со своими явными учениками (Тайная Вечера), но содержание этих бесед совсем не известно историческому христианству.

Нечего, конечно, говорить уже об апостоле Павле, который являлся в сущности не христианином,

а антихристианином. По его стопам пошло и современное христианство, уродуя и извращая всевозможнейшими способами учение своего Учителя.

Можно, конечно, согласиться с Кропоткиным в том отношении, что инстинкты взаимопомощи и солидарности играют очень большую роль в развитии животных видов, а также и в социальном развитии человека. Нельзя только, с нашей точки зрения, строить этическую систему на наших чувствах и инстинктах. Наша природа — слишком разнообразна. Она нас учит не только добру, но учит также и злу. Ведь и Кропоткин соглашается с тем, что в природе господствует по преимуществу жестокая борьба за существование. И если в душе человека проявляются иногда добрые (нравственные) начала, то из его инстинктов вытекают также и начала злые, начала имморальные. И отсюда не следует также делать те выводы, что эти злые начала необходимо оправдывать потому, что они являются продуктом нашей природы.

Мы же не можем оправдывать зло. Откуда бы оно ни исходило, в каких бы формах оно ни проявлялось, чем бы оно ни оправдывалось, — всякое зло является для нас злом. Его нельзя оправдывать также ни временем, ни пространством. Если бы в конце концов злые начала являлись единственными законами природы, то и в этом случае мы не могли бы примириться с ним. Нам необходимо было создавать, как мы упоминали уже об этом выше, даже искусственным образом некоторые нравственные понятия. Без этих понятий наше существование было бы каким то чудовищным, а может быть и невозможным.

Наряду с этим мы не должны забывать и того, что у некоторых людей нет никаких нравственных понятий даже в потенции. В качестве яркого примера в этом отношении являются разнородные Джекипотрошители, профессиональные убийцы, палачи и русские большевики. Трагичнее всего то, что эти кровожадные животные, носящие образ и подобие человека, и не хотят знать никакой нравственности. Что же можно сказать о нравственной эволюции этих "людей"? Надо думать, что на этих животных не повлияет в

нравственном отношении никакая органическая эволюция. Для подавления господства этих новейших ассенинов, а также и для прекращения их деятельности понадобилась бы уже не историческая эволюция, а какие то более активные и могущественные силы. Этой великой силой были некогда Рыцари Ордена Тамплиеров, прекратившие ужасную опустошительную деятельность средневековых ассенинов (не следует смешивать этот Орден с американскими Тамплиерами, которые едва ли имеют что либо общее с этим великим историческим Орденом). Очень трудно, конечно, сказать, найдутся ли подобные силы теперь, когда они так необходимы...

Нельзя, следовательно, по нашему мнению, строить этическую систему на том первобытном хаосе, который таится в душе человека. Всякое воспоминание об этом хаосе пробуждает в нашем сознании все более и более хаотические начала. Прав был поэтому Тютчев, когда говорил:

“О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый.
Как жадно мир души больной
Внимает повести любимой.
Из смертной рвется он груди
И с беспредельным жаждет слиться.
О, бурь заснувших не буди,
Под ними хаос шевелится”.

Этого хаоса мы и боимся. Боялись его так же и все философы-идеалисты. Нам более близок поэтому нравственный идеализм. Нам ближе поэтому нравственность абсолютная, нежели относительная; нравственность непреходящая, нежели временная и относительная. Нам дороже также, как и Платону, красота духовная, нежели красота физическая.

“Красота, находящаяся в одном каком нибудь теле, — говорит Платон, — сродни той красоте, которая находится во всех других телах; поняв это, человек должен полюбить всякие прекрасные формы... и должен душевную красоту ценить гораздо выше, нежели красоту телесную, и таким путем он придет к созерцанию красоты, которая состоит в исполнении своих обязанностей и тогда он уразумет, что пре-

красное везде тождественно, и тогда красота формы не будет для него чем то значительным. Достигнув такой степени понимания красоты, человек “увидит нечто удивительно-прекрасное по своей природе” — красоту вечную, не сотворенную и не погибающую красоту, которая не увеличивается, но и не оскудевает, красоту неизменную во всех частях, во все времена, во всех отношениях, во всех местах и для всех людей”. То же самое можно сказать и о нравственности вообще, ибо эта духовная красота является только одним элементом нравственности. Такова же была точка зрения и гениального немецкого философа Фихте, на учении которого Кропоткин, к сожалению, почти не останавливается, боясь, отчасти, вследствие “варварской терминологии немецких философов”, передать в точности это учение.

Подводя краткий разбор этой книги к концу, перед нами появляется еще несколько важных вопросов. Если под нравственностью Кропоткин понимает только некоторые социальные взаимоотношения между людьми — начала равенства и справедливости — то не может ли ответить нам на это какой либо философ права, что и задачи права сводятся в сущности к этому? Второй вопрос следующий: если мы станем даже и на точку зрения Кропоткина, то не являются ли в конце концов и сами по себе нравственные инстинкты чем то духовным, а не физическим? И возможно ли, наконец, чтобы человек, этот царь жизни, мог научиться чему либо у животных, стоящих, в сравнении с ним, на такой низкой ступени развития?

На все наши вопросы, сомнения и несогласия, Кропоткин, к сожалению, нам ничего уже не ответит. Если бы его работа была доведена до конца, тогда, быть может, мы и согласились бы с ним.

Тем не менее, книга его настолько интересная, что закрываем мы ее с каким то большим сожалением, зная, что продолжения его оригинальных мыслей мы не прочтем, очевидно, нигде.

Апрель, 1924.

Дельта.

ДИКТАТУРА И РЕВОЛЮЦИЯ.

Энрико Малатеста.

Под этим заглавием вышел в свет односторонний труд нашего друга, Луи Фабри, на итальянском языке, французский перевод которого был обещан несколько времени тому назад газетой "Le Libertaire". Какая участь постигла это благое намерение — мы не знаем, но, вообще говоря, такие начинания можно только приветствовать, ибо мы глубоко убеждены в необходимости упорной борьбы против так называемого "коммунистического" максимализма, с его популизмами монополизировать революцию. Не взирая на жестокую травлю "инакомыслящих", вопреки потрясающим разоблачениям, вопреки тому, что факты каждого дня изобличают его псевдо-революционную природу — он продолжает оставаться одной из тех несокрушимых легенд, которые обладают такой неиссякаемой и непостижимой живучестью. И наш долг, тем паче — раскрыть, без послаблений, печальную действительность, во всей ее неприглядной наготе.

Ниже приводим предисловие, написанное Малатестой к испанскому изданию книги Фабри.

* * *

Написанная около 2-х лет назад, книга Луи Фабри о русской революции сохраняет свою свежесть и остается наиболее всесторонним и исчерпывающим из известных мне по этому вопросу трудов. Развернувшиеся впоследствии события только подчеркнули лишний раз исключительную ценность этого произведения, т. к. выводы, сделанные Фабри на основании известных ему в то время фактов и анархистских принципов получили теперь наиболее решительное и очевидное экспериментальное подтверждение.

Тема книги есть частный случай все того же исконного и вечного конфликта между началами свободы и власти, которым наполнена вся прошлая история; этим своеобразным недугом современный мир болеет в большей чем когда либо мере, и от исхода его зависит участь всех настоящих и будущих революций.

Российская революция и ее развитие совершилось по тому же закону, "характеризуется той же кривой", что и все революции в прош-

лом. После периода восхождения, к наивысшей справедливости и свободе, который длился до тех пор, пока народное движение было захвачено всецело борьбой и низвержением ненавистного "старого режима", — наступил период реакции, начало которого совпадает с тем моментом, когда революционное правительство сумело более или менее упрочиться и повело систематическое и планомерное наступление — то медлительное и постепенное, то напротив — бурное и яростное — против всех "неблагонамеренных элементов", с целью свести на нет все завоевания революции и установить некий прочный и неизблемый порядок, который обеспечил бы новому правящему классу перманентное "пребывание у власти", и защитил интересы новоявленных "сливок" или "привилегированных" (к последним, между прочим, относятся и те из уцелевших "избранных" старого режима, которым удалось благополучно пережить революционную бурю и натиск).

В России, благодаря исключительным обстоятельствам, народ покончил с режимом царизма, учредив по собственной воле и свободному почину советы, т. е. местные представительные от рабочих и крестьян комитеты, подчиненные непосредственному контролю представляемых. Как промышленные предприятия, так и крупные землевладения были экспропрированы именем революции и свободы, и на этой, относительно справедливой основе было воздвигнуто новое социальное бытие. По этой линии развивалась Революция, осуществлявшая наиболее грандиозный социальный эксперимент, какой когда-либо заносила в свои анналы история. Она должна была явить миру пример великого и героического народа, который величайшим напряжением всех своих творческих сил и способностей сумел достигнуть раскрепощения и организовать свое бытие согласно своим запросам и воле, без всякого давления со стороны какой-либо внешней силы, сковывающей его силы и понуждающей его служить интересам привилегированной касты.

К несчастью, однако, между людьми, кото-

рые сделали больше других, чтобы нанести старому режиму решительный и смертельный удар, нашлись фанатики-доктринеры, уверовавшие слепо и яростно в свое мнимое "обладание истиной" и в свою миссию спасения народа; обрекли это вожденное спасение, по мнению их, можно было только идя указанными ими путями. Используя престиж, который они почерпнули из сыгранной ими во время революции заметной и крупной роли, и опираясь, с другой стороны, на таившуюся в их организации силу, они сумели захватить власть в свои руки и совершенно обессилили все прочие партии, и в особенности анархистов; так как последние хотя и оказали Революции чрезвычайно и едва ли не большие услуги, но все же не в состоянии были дать сколько нибудь действенный, энергичный отпор, в силу своей раздробленности, распыленности, отсутствия организации и контакта. С этого момента Революция становится как бы обреченной.

Новая власть, как это свойственно всякому, вообще, правительству в силу самой его природы, пожелала сосредоточить в своих руках управление всей жизнью страны и подавить окончательно все проявления самостоятельной инициативы и творчества, все движения и порывы, исходящие из недр народных.

В качестве опоры этой власти была создана, в первую голову, преторианская гвардия, затем регулярная армия и, наконец, мощная полицейская организация, превосходящая в смысле свирепости и настойчивости своей человекоубийственной мании даже прославленную царскую жандармерию. Создана была многочисленная бюрократия, советы были сведены на положение простого орудия в руках центральной власти, и в случае надобности разгонялись силой штыков. Всякая попытка оппозиции противопоставления официальной программе каких либо иных социальных лозунгов и проектов подавлялась насильственно, и очень часто насилие это было кровавым. В результате рабочие и крестьяне невольно упали духом. Здоровый производительный труд был подорван.

От натиска европейской реакции русская территория была защищена с успехом, но Ре-

волюции, как таковой, спасти не удалось, так как она оказалась задушенной, несмотря на все старания соблазнить необходимую видимость и формы.

В настоящее время делаются попытки добиться признания со стороны буржуазных государств, завязать с ними дружественные сношения, восстановить капиталистическую систему и в итоге всего этого окончательно похоронить Революцию.

Все упования, чаяния и надежды, которые пробудила в мировом пролетариате российская революция, оказываются, миражем, утопией или химерой!..

Бесспорно, к прежнему своему состоянию Россия более не вернется, ибо ни одна революция не проходит без того, чтобы не оставить по себе глубокий и неизгладимый след, всколыхнув и возвысив душу народа, и открывая новые возможности и горизонты для будущего. И тем не менее достигнутые результаты следует признать гораздо ниже того, что можно было ожидать с полным правом, в сравнении, особенно, со всеми страданиями и пролитой за время революции кровью.

Мы не станем заходить здесь черезчур далеко в поисках виновных и прегрешивших. Ответственность за совершившиеся бедствия падает в значительной мере на те ультра-авторитарные директивы, под знаком которых была проведена революция; немалую роль здесь сыграла также странная психология большевистских правителей, которые после всех заблуждений, покаяний и чистосердечного признания своих ошибок, попрежнему верят в свою непогрешимость и продолжают упорно навязывать массам свою противоречивую и изменчивую волю. Справедливость, однако же, требует отметить, что им пришлось столкнуться с небывалыми, огромными трудностями, и то, что кажется нам следствием заблуждений или дурно направленной воли, было, быть может, неизбежным последствием исторически сложившихся условий и причин.

Вот почему мы добровольно воздерживаемся от вынесения приговора, предоставляя эту задачу суду будущей, объективной и трезвой, истории, если таковая, вообще, когда либо окажется возмож-

ной. В Европе, однако, имеется целая партия, которая, находясь под гипнозом российского мифа, хотела бы навязать всем назревающим в ближайшем будущем революциям те же методы, которыми умерщвлена была революция русская. Необходимо, в виду этого, предостеречь широкие массы, и в особенности революционеров, против той опасности, которую таят в себе эти диктаторские попытки "большевиствующих" элементов и присных. Весьма значительная услуга в этом отношении оказана, как раз, книгой Фабри, поскольку она вскрывает с полной очевидностью то непримиримое органическое противоречие, которое существует между диктатурой и революцией.

Основной довод, к которому прибегают обыкновенно защитники диктатуры — называемый еще иначе диктатурой пролетариата, хотя она и представляет собой, как мы в том убедились с некоторых пор, диктатуру партийных заправил над всем населением — итак, аргумент этот, говорю я, сводится к необходимости защищать революцию от попыток буржуазной реставрации изнутри и от нападений со стороны тех государств, пролетариат которых не сумеет внушить достаточного почтения своему правительству, угрожая революцией с того момента, когда армия будет отправлена на фронт.

Не подлежит сомнению, что такая защита необходима, но от способов ее зависит в значительной мере и участь самой революции. Если для того, чтобы жить нам приходится отказываться от всего, в чем заключается ценность жизни — если во имя обороны революции мы должны отказать от тех завоеваний, в которых заключалась ее главная цель и смысл — не лучше ли было бы, в таком случае, честно признать себя побежденным, согласиться, так сказать, на почетную капитуляцию, с сохранением известных возможностей в будущем, нежели победить — цену измены тому делу, которому служишь?

Защита революции "изнутри" должна базироваться на искоренении всех буржуазных установлений и невозможности возврата к прошлому. Что же касается попыток ограждения пролетариата от нападков и козней буржуазии, путем поставления ее в подчиненное политически положе-

ние, — то они останутся попытками все. Ибо, покуда существуют имущие и неимущие классы, первым, в конечном счете, всегда удастся стать "выше закона", а впоследствии, едва уляжется первый порыв революционного шторма, они сумеют даже пробраться к власти и фабриковать законы по своему усмотрению и вкусу.

Бесплодными в такой же степени являются различные полицейские меры, которые пригодны лишь для угнетательских целей, но ни в каком случае не могут быть полезными делу свободы.

Тщетна и, что хуже того — братоубийственна в своей тщете та бойня, которая преподносится нам под именем столь прославленного революционного террора.

Бесспорно — ненависть, та справедливая ненависть, которая пламенеет в умах угнетенных, так велика, так многочисленны позорные деяния, совершенные правящими и властью имущими вкупе, так многочисленны проявления отвратительной свирепости и зверства, исходящие от "верхов", так беспощадно презрение к жизни и страданиям человеческим, которым похваляются господствующие классы что не приходится удивляться, если в дни революции народная месть разливается неумолимым и грозным пожаром. Нас это отнюдь не шокирует и мы стремимся обуздать этот законный порыв другими средствами, кроме увещевания и пропаганды, т. е. все иные пути привели бы нас неизбежно к реакции. Для нас несомненно то положение, что террор в революции есть скорее опасность, нежели гарантия успеха, ибо по общему правилу, он поражает как раз наименее виновных и возвышает худшие, антисоциальные элементы, которые при прежнем режиме служили в полиции и охране, и спешат теперь, прикрываясь именем революции, дать простор своим низменным, алчным инстинктам.

Сказанное здесь может быть отнесено также и к террору народному, исходящему от масс и направленному непосредственно против их прямых угнетателей. Ибо даже в том случае, если бы террор был организован по приказу и предписаниям правительства и осуществлялся с помощью полиции и так называемых революционных трибуналов, он превратился бы в верней-

шее средство удущения революции, так как применялся бы не столько против реакционеров, сколько для устранения тех черезчур усердных ревнителей свободы, которые решились бы сопротивляться приказам нового правительства и охранять привилегии вновь создающегося правящего класса.

Чтобы защитить революцию и обеспечить ее торжество необходимо заинтересовать всех и каждого в ее успешном исходе, чти свободу и неприкосновенность личности, и устранив не только право, но и всякую возможность эксплуатации чужого труда.

Мы должны не подчинять буржуазию пролетариату, но уничтожить все междуклассовые различия, обеспечив каждому возможность трудиться согласно с своими склонностями и поставив всех трудоспособных членов общества в такие условия, при которых они не могли бы существовать вне труда.

Социальной революции, хотя бы и победоносной, угрожает все же опасность быть раздавленной, стараниями лишившегося своих привилегий класса; это революция, застрявшая на полпути, и чтобы быть уверенным в ее конечной победе, необходимо ее непрерывное углубление и развитие.

Остается, таким образом, вопрос о защите революции от внешних врагов.

Революционная оборона—дабы не погибла революция под пятой наемных солдат—должна быть организована с помощью добровольческих и партизанских отрядов, которые действовали бы таким

образом, что неприятель на захваченной территории наткнется бы на каждом шагу на неожиданные ловушки и засады. Солдатам неприятельской армии, мобилизованным насильственно, должно быть оказываемо всяческое снисхождение, с офицерами же добровольцами необходима суровая и беспощадная расправа. Военные операции должны быть организованы наилучшим образом, но существенно важно, также чтобы участники военной борьбы не совершали, под этим предлогом эксцессов и насилий над мирными жителями.

Мы не отрицаем того, что с технической точки зрения, чем больше армия подчинена командованию, тем больше у нее шансов на победу, и что концентрация всего командования в руках одного человека — если он к тому еще скажется военным гением — являлась бы надежнейшим залогом успеха. Однако, технические вопросы имеют лишь второстепенное значение. И было бы плохой услугой делу революции, если бы мы сами поставили ее жизнь в опасное положение ради предотвращения возможности поражения со стороны нашего врага.

Пусть же пример русской революции послужит нам на пользу! Ярмо, налагаемое на себя в расчете обрести надежное руководство, может привести лишь к порабощению.

Все революционеры должны познакомиться с книгой Фабри, что необходимо, дабы избегнуть тех ошибок и заблуждений, какие имели место в России.

ВЕЛИКИЕ ИДЕИ И "МАЛЕНЬКИЕ ЛЮДИ".

1.

Я не понимаю тех фанатиков идеалистов, которые ради абстрактной идеи "человечности" способны угнетать и мучить живого человека. Такие "идеалисты" подобны на сумасшедших, пожелавших оживить похотенную тень и с этой целью умерщвляющих свою плоть.

2.

Величайшая истина легко превращается в заблуждение, если только ее пытаются осуществить при помощи насилия.

3.

Вот человек: он всю свою жизнь посвятил служению великой идее, а между тем, его голова не произвела на свет ни одной оригинальной идеи.

4.

Глупец поклонился мудрому, но не стал от этого умнее.

5.

Великие философы рождаются на свет божий не для того, чтобы подавать своим автори-

тетом "маленьких людей".

6.

Оттого, что ты рабленно преклоняешься перед чужим авторитетом, твой ум не делается ни возвышеннее, ни благороднее.

7.

Философу свойственно заблуждаться, но более всего ему свойственно вводить в заблуждение своих близких.

8.

Если бы каждый начал жить своим умом, на свете уменьшилось бы число дураков.

9.

Мудрец, погнавшийся за славой, более жалок, чем глупец, пресмыкающийся перед нею.

10.

Единственная в мире власть, против которой человек не решается возставать, это власть общечеловеческих идеалов.

11.

Будьте осторожны с идеями, которые пе-

«0000000»

режили своих творцов. Остерегайтесь провозглашать их бессмертными. Ибо идеи прежде всего — дело ума человеческого и бессмертная идея такая же наивная иллюзия, как и миф о бессмертии человека. В мире невежественных людей существует много предрассудков и ложных верований, но самая опасная из них, это вера в бессмертие идеи. Благодаря этой вере, идеи, способные прожить всего несколько десятилетий, властвуют над человеческими умами много веков, а идеи, действительно жизненные, рождающиеся в головах современников, преследуются толпой и остаются мертворожденными.

12.

Долговечный идеал, это в высшей степени подозрительное явление. Бессмертный идеал, это контр-революция и покушение на свободный разум отдельной человеческой личности.

Анатолий Консе.

НА НИВЕ БЕЗВЛАСТНОЙ

Никону - Климовскому посвящается.

Я Сеятель Вольный на Ниве Безвластной.

В руках — Золотое Зерно.

Не знаю, увь! все старанья напрасны:

Запущена почва давно.

Камнями и мусором разным покрыта,

Она непроглядно-скупа;

Поломан мой плуг, моя сошка разбита,

И потом спина изомла.

Мой разум велит мне: "Оставь все надежды!

Труды не пойдут тебе в прок!

Владельцы пашни — слепые невежды

Убили в ней жизненный сок.

Богатая раньше, бесплодная ныне,

Земля не способна родить...

Зачем же безцельно трудиться в пустыне

И силу свою изводить?"

Но сердце волнуемо верой чудесной,

С ним вместе упрямо твержу:

Ах, разум! земля, как ребенок нежный;

Я лаской ее воскрешу.

Тяжелые камни и сорные травы?

Ну, что ж... я работать горазд!

Рукой напряженной в усилии кровавом
Поспору и с ними не раз.

Коль стану любовно, внимательно, строго

За Нивой Родною следить,

Я верю: земля милосерднее бога

Сумеет мой труд наградить.

Когда же покажут ростки молодые

Головки из черной земли,

Я крикну, скрестив свои руки худые:

Эй, небо! им дождик пошли.

А если откажет мне небо во влаге

И высушит Ниву мою,

Возьму я кинжал, с безрассудной отвагой

Его в свое сердце вонжу.

И собственным стоном и жалобам внемля,

Хулу вознесу к небесам,

И кровью горящей любезную землю

Полью из зияющих ран.

О пейте вы кровь мою Вешние Выходы,

Спасая свой рост золотой!.."

Так Сеятель Воли и Пахарь Свободы

Мечтает над Нивой Родною.

Анатолий Консе.

О КЛАССОВОЙ БОРЬБЕ И КЛАССОВОСТИ ВООБЩЕ.

А—В.

Признают ли анархисты классовую борьбу — вот вопрос, ответа на который все настойчивее и настойчивее требуют от анархистов. Требования, надо сказать, вполне понятны, ибо вопрос слишком важен и серьезен, и от степени отбета, безусловно, зависит очень многое. Но в то же время, именно в силу этой важности и серьезности вопроса, необходимо, прежде определения того или иного ответа, предварительно уяснить, — как, в каком смысле следует понимать признание классовой борьбы. Дело в том, что классовую борьбу можно отрицать или признавать двояко: как факт и как идеал, т. е. как борьбу являющуюся неизбежным результатом существующего строя и как борьбу должностную быть основой будущего строя. Эта маленькая предварительная предпосылка доводит до очевидности, что поскольку речь идет о классовой борьбе в первом смысле, то анархисты, повидимому, отрицать ее не могут, ибо, в противном случае, это было бы равносильно отрицанию классового характера нынешнего строя и шло бы в открытый разрез с действительностью. Но коль скоро дело касается классовой борьбы, как идеала, то анархисты здесь имеют полную возможность признавать ее или отрицать; здесь отсутствуют всякие предначертания или неумолимые условия.

И вот, говоря о классовой борьбе в этом последнем смысле, приходится сказать, что ответ на вышеотмеченный вопрос должен быть отрицательным. Суть в том, что признание классовой борьбы, как принципа, взгляд и суждение обо всем исключительно с классовой точки зрения, в сущности ни больше ни меньше, как выворачивание нынешнего строя наизнанку, т. е. замещение от буржуазии всех ее методов. Современный строй, ведь, типичнейший образец классовой идеологии; в нем все построено на классовых принципах, все базируется на классовых интересах; а между тем мы видим и прекрасно знаем цену этого строя. Собственно говоря, мы и воюем против него главным образом как против строя обоснованного на классовых началах. Всюду бьющая в глаза классовая

вошь, приводящая к грубому попиранию истины ради классовых интересов, именно и возмущает нас и всех тех, кому дорога правда и честь. Думать, что все зло заключается в том, что господствующим классом является класс буржуазии, а не класс рабочих — не разумно, ибо суть не в названии и даже не в природе того или иного класса, а в самой классовой сущности. Сущность классовой в общих чертах заключается в том, что интересы того или иного класса выделяются из общего числа жизненных явлений и ставятся, как мера и критерий, выше всего. И безразлично чьи будут эти интересы, — класса ли буржуазии или класса рабочих, — раз они будут носить печать классовой и будут стоять выше общих интересов, социальное равновесие будет нарушено и несправедливость будет неизменно торжествовать.

Можно, правда, сказать, что интересы рабочего класса далеко не тождественны интересам буржуазии и что аналогии, поэтому, не может быть. Об отличительности интересов рабочего класса от интересов буржуазии спорить, разумеется, не приходится: отличительность имеется и даже очень значительная. Буржуазия, например, строит свои интересы главным образом на принципе частной неограниченной собственности, дающей ей возможность пригребать к своим рукам все, а следовательно и верховодить всем; рабоче же, наоборот, в большинстве случаев стремится к замене принципа частной собственности принципом коллективного пользования. Иными словами говоря, стремления рабочих и буржуазии в экономической области диаметрально противоположны. Однако это несколько не исключает возможности аналогии. Дело в том, что природа классовой способна проявляться не только в хозяйственных отношениях, но и в отношениях чисто правового характера. Можно, например, область экономических отношений обосновать на общем внеклассовом принципе, но достаточно сохранить некоторую нормировку в области права и долга, чтобы общество не утратило своего перархического характера. Можно установить даже полный коммунизм на предметы

производства и потребления, но достаточно запретить кому-нибудь занимать ту или иную общественную должность или лишить кого-нибудь общественного доверия, — и этот последний беззусловно почувствует себя униженным и обиженым.

И поэтому своеобразие стремлений рабочего класса в экономической области еще не гарантирует обществу универсального равновесия, не отражает его (общества) от социальных антагонизмов вообще. Общественные трения и несогласованность слишком гибки и разнообразны; они могут прекрасно развиваться на всякой почве, в том числе и на почве правовой. Можно, конечно, предполагать, что пропасть, вытекающая из правовых разноречий, будет не так велика, как при господстве буржуазного класса и буржуазных принципов; можно думать, что согласованности в таком случае будет больше и т. д. Но разве суть в этом? Разве миссия рабочего класса в том, чтобы полировать и подлачивать недостатки буржуазного строя? Очевидно — нет. Очевидно задачи и стремления рабочих должны быть оригинальны и в корне отличительны от стремлений буржуазии не только в экономическом отношении, но и во всех отношениях. Но это уж будет равносильно отрицанию всякой классовости.

Встает, таким образом, дилемма: или держаться классовости и перегибать палку буржуазных методов в другую сторону, т. е. палку, ныне пляшущую на спинах рабочих, пустить по спинам буржуазии и наполнить мир новыми стопами, новыми проклятиями; или же отрешиться от всех буржуазных предрассудков, выйти из тины и болота и повести борьбу чистую и красивую... Но в то же время отказаться и от всяких классовых предвзятостей. Есть, разумеется, среди рабочего класса сторонники того и другого взгляда, что, при известном взгляде на вещи, и не удивительно. Что же касается анархистов, то они в большинстве случаев склонны примкнуть ко второму взгляду. Исследуя сущность классовости — в ее основе — анархисты находят, что всякая классовость слишком узка, однолинейна и пресыщена сектанскими традициями; что отражает она лишь незначительную

часть житейской шири — интересы одного какого-нибудь класса; и что поэтому классовость не может заключать в себе полностью природы анархизма. Помимо этого, в классовости нельзя отыскать тех существенно-необходимых предпосылок, на которых базируется идеал анархизма и которые обязательны для обоснования самой же классовости. Чем, например, можно определить понятие класс, как реальную единицу? Самым общепринятым понятием и самым распространенным критерием для определения класса, безусловно, является характер участия в народном хозяйстве. По степени участия в хозяйственных операциях считается самым лучшим определять — буржуй ли данное лицо или рабочий. Наемный труд и заработная плата служат в этом "опознавательным" процессе как бы краеугольным камнем. И все же приходится сказать, что и этот, казалось бы надежный, критерий не только не может разъяснить всех сложных проблем, но часто может приводить к результатам противоположного характера.

Взять, например, инженера, работающего у какой-нибудь компании и получающего в день сверх 10-ти долларов (в настоящее время даже каменщики и другие профессиональные рабочие получают в Америке больше 10 дол. в день) и бедного сапожника, коротающего день и ночь в своей захудалой мастерской. Согласно вышеприведенной классификации, инженеру необходимо причислить к классу пролетариата, ибо он есть наемный рабочий, а сапожника к классу предпринимателей, ибо он работает самостоятельно, несмотря на то, что у первого, быть может, хранится в банке несколько тысяч, а у второго, возможно нечем уплатить требуемый с него налог за вывеску.

Подобные сопоставления можно приводить без конца, но и без этого ясно, что определить класс, как что то целое, отшлифованное, нельзя. Без этой же определенности нет возможности обосновать точный и утвердительный фундамент для построения надлежащей классовой теории. Всякая теория, чтобы быть прочной и несокрушимой, должна покоиться на незыблемых основах; должна быть отчетливой, ясной и строго-выкристаллизованной от начала до конца. Те-

ория же о классовости, как это видно, хромает и тем, и другим, — у нея нет ни ясной определенности, ни надлежащих основ. Надуманная и выпущенная из кабинета К. Маркса она, хотя временно и взвилась высоко, парить долго в выси, однако, не могла. Как подбитая птица, она вынуждена была спуститься вниз и скромно прикормить в одном из мало приметных уголков. Общество оказалось гораздо сложнее, чем это предполагали основоположники классовой теории. Провести по социальной ниве классовые борозды, размежевать, разбить общество на "кусочки" и объяснить все с точки зрения вот этой размежеванности, — задача, оказалась, не так легкая. После некоторого исследования выяснилось, что каждый класс то и дело переходит свои границы и не только общается с другими классами, но иногда далеко заходит на территорию этого последнего. Ежегодно, ежедневно совершаются в разных видах переходы, переходы из одного класса в другой. Окномойщики обзаводятся домами в 100.000 долл., буржуа становятся шоферами на такси моторах и т. д. "Внутренняя политика" классов тоже, оказывается, не так проста, как это можно было предполагать. Согласно теории классовой борьбы, трения и столкновения должны происходить только между классами; внутри же каждого класса должна царить спаянность и согласованность. В действительности, однако, это далеко не оправдывается. Действительность как бы подтверждает теорию знаменитого натуралиста Э. Бэра, противопоставившего дарвиновской "борьбе видов" "борьбу индивидов". "Борьба индивидов" в социальном смысле не единственная борьба. Каждый класс, кроме борьбы с другими классами, имеет и свою внутреннюю борьбу, — борьбу, подчас ничуть неуступающую борьбе внешней. Чуть ли не каждый капиталист, несмотря на свои классовые тенденции, старается "заесть" своего соседа — капиталиста-же; рабочие тоже часто вступают в борьбу между собою. Отчасти это объясняется незнанием, незрелостью и т. д. — однако только отчасти; другое "отчасти" заключается в бессилии самих же классовых традиций. Если бы разоскляемое понятие "класс" являлось чем-то непреложным, железным, то нет

сомнения, что ни один человек не мог бы его нарушить. Даже угроза смертью не имела бы значения в таком случае. Тот же факт, что классовость чуть ли не на каждом шагу нарушается, свидетельствует, что она — явление случайное, относительное, не имеющее никаких естественных основ. Всякий волен выподнять ее или не выполнять; всякий волен, на ряду с классовыми интересами, преследовать и другие — свои личные или общественные — интересы.

До сих пор — по вполне понятным причинам — классовые традиции нарушались главным образом интересами личного характера, но в то же время они могут нарушаться и интересами общественного характера. Последних явлений — пока — в истории немного, но им принадлежит будущее. Как до настоящего времени человеку, жаждущему личного блага, было сравнительно легко преступить классовые уставы, так в ближайшем будущем людям, руководящимся чувствами общего блага, не трудно будет забыть все классовые наклейки и нашивки. В основу будут положены общие, человеческие принципы, одинаково гарантирующие всем хлеб и волю. В значительной мере это уже теперь чувствуется и до некоторой степени подтверждается современным же состоянием общества. Если бы нынешнему обществу не свойственно было нечто общее, внеклассовое, то оно, при его чудовищном антагонистическом состоянии, действительно распалось бы окончательно на классы. Каждый класс вполне обособился-б, отделился бы от других классов, замкнулся бы в свою скорлупу и начал бы вести исключительно классовую жизнь. У каждого класса появилось бы все свое, классовое: свои законы мышления, своя наука, своя мораль, свое искусство и т. д. Однако на деле ничего подобного нет. И нет не потому, чтобы этого никто не желал, — желают вероятно многие, "патриоты своего отечества" — ведь всегда и везде найдутся. Но дело в том, что одних желаний еще недостаточно. Есть такие вещи, которых никакими желаниями не прошибить. То же и здесь. При всей значительности классовых разноречий и разногласий все же наблюдается какая-то связка, какая-то сцепка, не позволяющая обществу окончательно раскле-

ниться.

Связкой этой, безусловно, следует признать науку, мораль, искусство и т. д. На этих точках неизбежно сходятся все: "...воин, купец и пастух..." Как ни глубока вражда между классами, как ни противоположны их стремления в житейском обиходе, но разойтись в культурных ценностях они не могут. Создать свою, — классовую — Истину, создать свое Добро, свою Красоту не может ни один класс. Дважды два — четыре останется законом для всех. Рафаэль, Байрон, Тургенев светят всем и каждому. Правда, степень участия, как в творчестве, так и в пользовании культурными ценностями, не одинакова: участие рабочего класса меньше участия буржуазии. Но это лишь свидетельствует, что культурные ценности недоступны рабочему классу, но отнюдь не чужды. Дайте возможность рабочему посидеть несколько лет на школьной скамье и он также будет восхищаться Бетховеном, как и нынешний буржуа; так же будет производить анализы и вычисления, как и нынешний профессор; а как он запоет — об этом свидетельствуют многие певцы-самоучки.

Эта то универсальность науки, морали и искусства, и невозможность прикрыть их никакими классовыми колпаками и лишает классовые построения сколько нибудь серьезных основ, это то и низводит их на степень обыкновенной случайности, как результата данных общественных соотношений, долженствующей исчезнуть вместе с исчезновением самих же соотношений. И само собой понятно, что всякий желающий упразднения нынешнего право-порядка, должен тем самым желать упразднения и всех классовых понятий, и замены их понятиями внеклассовыми, человеческими. Иначе выйдет глубокая ошибка. Ведущая ныне борьба против рабства, против несправедливости и насилия, превратится тогда в самую обыкновенную гегемонию, в самое обыкновенное отбитие "пирота жизни" у своего противника, и утратит всякую обаятельность и величие. От этого рабочий класс решительно ничего не выиграет, а потеряет многое. Во-первых, это даст возможность буржуазии оправдывать все свои грязные замашки, ибо раз дело в гегемонии и раз буржуазия взяла верх, то здесь

нет ничего неестественного и побежденным нечего пенять на кого-то и предъявлять своим победителям какие то требования. Во-вторых, рабочий класс этим самым утратит то моральное преимущество, которым он в настоящее время располагает. Быть может, с точки зрения относительного довольства это не так важно, — какая, мол, разница как обо мне будут думать, если я сыт, пьян и весел, — однако с другой точки зрения здесь есть громадная важность. Доказательством этому может служить хотя бы все та же нынешняя борьба рабочих с буржуазией. Фактически ведь победа всегда на стороне буржуазии, — к ее услугам и толстые томы писанных законов, и продажные толкователи этих законов, и грубая сила — штыки, и мощные судуки денег. И поэтому на первых порах должно быть загадкой — почему рабочие шаг за шагом продвигаются вперед, почему они раз за разом отвоёвывают у буржуазии то или иное право. Объяснением здесь может быть лишь то, что моральная сила всегда на стороне рабочего класса. Сколько бы буржуазия ни пекла разных законов, как бы она их ни истолковывала, но достигнуть морального преимущества перед рабочим классом она не может, и ей в силу этого приходится уступать в той или иной области.

Правда, уступки эти в конечном счете маловажны, но здесь речь идет не о конечных результатах, а о результатах сравнительного характера. В последнем же отношении преуспевание угнетенных не подлежит сомнению. И не будь у рабочего класса этого превосходного, ничем не заменимого орудия — морального превосходства, кто знает? — быть может мы и до сих пор находились бы на положении судр (нишьял каста в древней Индии), быть может и до сих пор нас безжалостно стегали бы, как обыкновенных беззащитных животных. И ни Моисей, ни Христы, ни Годвинны, ни Оуэны, ни Герцены, ни Кропоткины, ни Толстые в таком случае не заступились бы за нас. Все они проходили бы мимо нас, "кивая головами". Наши муки, наши стоны и слезы были бы чужды им. Но, к счастью, мы лишены великого дара природы, к счастью, мы обладаем драгоценнейшим орудием, каким только человечество может обладать. И

еще больше мы счастливы, что отнять этот дар от нас никто не может. Но.. мы можем сами его утратить. Мы можем опозорить, "завозить" нашу жемчужину, как это уже сделала буржуазия. Буржуазия в своей борьбе с дворянством несомненно располагала моральным превосходством; ее стремления в значительной степени были идеальны и красивы. Но как только она победила, как только она победу — общую, человеческую — превратила в личную, классовую, — она утратила всякое моральное преимущество. Рабочий класс должен учесть хотя бы этот урок своего противника и не допустить себя до такой глупливости и опасности. Рабочие должны помнить, что они такие же смертные, как и все, что им также не чуждо "трекхопадение", как и каждому. Думать, что рабочие являются своего рода браминами отечества так же неосновательно, как неосновательно думать, что они составляют особую "суконную" или "картофельную" расу. Ни то, ни другое не является исключительной особенностью рабочих; то и другое присуще рабочим постольку, поскольку оно присуще всему человечеству. Выделять и возносить или топтать рабочий класс можно лишь под влиянием пристрастных влечений; с беспристрастной же точки зрения здесь нет ничего обособляющего, никаких отличительных черт. Та черта "святости", которая в настоящее время характеризует и отделяет рабочий класс от класса буржуазии, является обыкновенным результатом нынешнего положения рабочего класса. Рабочие унижены, обижены, — вот и окружает их ореол скорби и соотрадания. Но пусть только они снимут с своих плеч ярмо и наложат его на шею других, — всякая их святость превратится в самую заурядную дьявольщину.

Таким образом, здесь ничего нет абсолютно, постоянного, "от бога". Все — "постольку, поскольку..."

Но, конечно, было бы ошибочно заключать после всего этого, что анархисты питают какую то неприязнь к рабочему классу и относятся вполне индифферентно к происходящему между классом эксплуататоров и классом эксплуатируемых поединку. Анархисты в своем большинстве сами же примыкают по своему социально-эконо-

мическому положению к классу рабочих (а в политически-правовых отношениях все они принадлежат к числу униженных), и принимают самое активное участие в роковом поединке, на стороне, конечно, рабочего класса. Но в то же время анархисты находят, что идеализировать рабочий класс, возводить его нынешнее положение в культ божества и тем самым разжигать среди рабочих своего рода патриотизм, к чему неизбежно ведут всякие классовые теории, — задача довольно неблагородная. Хотя никто не станет отрицать, что каждый человек для поддержания своего существования должен трудиться, так как это есть закон природы, но также едва ли можно согласиться, что современный рабочий является полным совершенством, конечным идеалом человеческих устремлений и что, поэтому, все общество должно быть втиснуто в прокрустово ложе рабочего класса. Необходимо помнить, что в общей сумме особенностей рабочего класса не только имеются несовершенные качества, но есть самые существенные недочеты и недостатки. Даже предмет нашего суждения — классовая борьба, часто преломляется в призраке рабочего класса в сторону худших последствий. Кому не известно, что обширная сущность классов. борьбы претворяется рабочими в некот. случаях в достижение узких, чисто обывательских материальных выгод. И это претворение иногда достигает таких размеров, что рабочим, кроме вреда, ничего не приносит.

Брат, следовательно, рабочий класс вообще и считать его безусловной святynieй — не приходится. Здесь, как и везде, необходимо применять аналитический метод. Необходимо подходить со скальпелем в руках, разбивать "класс вообще" на его составные части, и только те "части" признавать положительными, которые действительно блещут Венерой в нашу мрачную эпоху. Плевеи же следует самым тщательным образом выпалывать, ничуть не жалея, что они пеходят из среды рабочего класса.

Вот это и составляет основную точку в подходе анархистов к классовой борьбе и классовости вообще. Пусть кажется подобная точка зрения некоторым немного неясной и расплывчатой... За-то сколько полноты и мужества! При

том здесь совершенно отсутствует всякая опасность впадать в крайности, упираться истине в затылок и, в опьянении, подрезать тот сук, на котором сами же сидим. Простор и широта дали в идейной программе, трезвый и непринужден-

ный взгляд на вещи, необходимы везде, а в вопросе о классовой борьбе тем более, ибо здесь одно название способно опьянить и увлечь на путь сомнительных результатов.

ПЕРВОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО РАБОЧИХ.

А. Карелин.

(Продолжение).

ДЕВЯТЫЙ КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОГО ТОВАРИЩЕСТВА РАБОЧИХ.

Девятый конгресс М. Т. Р. происходил в Бельгии, в Вербве, 6—8 сентября 1877-го года. На конгрессе присутствовали два делегата Испанской федерации, делегат 35 секции Итальянской федерации, делегат 2-х секций той же федерации, два делегата 12-ти секций французской федерации, один делегат от 22-х секций Юрской федерации и 5 делегатов бельгийской федерации долины Вездр, два делегата секций Германии и Швейцарии, уполномоченный от социалистов Греции и Александрии (Египет) Коста, делегат от льежского клуба изучения социализма, три делегата от групп, принявших программу Интернационала, но не присоединившихся к нему. Несколько опоздав, прибыли уполномоченный бельгийской секции Интернационала в Ламбермоне. В Интернационал были приняты новая французская федерация, федерация в Монтевидео, группа секций, образовавшаяся в Германии и льежский клуб.

Был принят следующий порядок дня: — 1) Вотиrowание отдельных секций на общих конгрессах, 2) Средства для скорейшего осуществления революционного социалистического дела и изучение этих средств, 3) об абсолютной необходимости в случае победы пролетариата в какой либо стране распространить эту победу на все страны, 4) Средства пропаганды в Египте, 5) Порядок дня на общесоциалистическом конгрессе.

По вопросу вотиrowания отдельных секций была принята резолюция одного из конгрессов Юрской федерации: — "принимая во вни-

мание, что конгрессы Интернационала не являются законодательными учреждениями, что решения этих конгрессов выполняются только теми секциями и федерациями, которые их приняли..., мы предлагаем, чтобы делегаты отдельных секций присутствовали на конгрессах с совещательным голосом".

Конгресс указал, что фактическая солидарность в реализации революционно-социалистического дела "является не только наиболее практическим средством, но и средством, необходимым для того, чтобы обеспечить триумф социальной революции". По предложению Коста и Брусса была принята следующая резолюция, против которой подал голос делегат Юрской федерации: — "раз социальная революция по своей природе международна, раз для ее торжества необходимо, чтобы она распространилась на все страны и так как некоторые страны, по своим экономическим и социальным условиям, в состоянии, тем не менее, поднять революционное движение, то конгресс заявляет, что каждый революционер обязан морально и материально поддерживать каждую страну, находящуюся в состоянии революции и распространить революционное движение на свою страну, так как только этим путем можно добиться торжества революции в той стране, где она разразилась".

Было прочитано письмо нескольких бельгийских секций, не пославших на конгресс делегата, к которому что местная федерация не известила их о созыве конгресса. В письме указывалось, что подписавшие его секции придерживаются принципов, выработанных на предыдущих конгрессах М. Т. Рабочих.

По единодушному предложению бельгийских делегатов, конгресс выразил свою солидарность в симпатии по адресу жертв революционной энергии, проявившейся в восстаниях и манифестациях текущего года в Бенеvente, в Петербурге, в Берне и в С. А. Соединенных Штатах.

Конгресс, давая инструкции делегатам на обще-социалистический съезд, вынес несколько важных резолюций: — о коллективной собственности конгресс высказался, что считает необходимым осуществление этой собственности, т. е. завладение общественным капиталом группами рабочих; конгресс заявляет, кроме того, что социалистическая партия, действительно достойная этого имени, должна выставить принцип коллективной собственности не как осуществимый в отдельном идеале, но в своих современных программах, в своих каждодневных манифестациях.

Конгресс объявил далее, что "он не делает никакого различия между различными политическими партиями, называются или не называются они социалистическими; все эти партии, без различия, образуют в глазах конгресса реакционную массу и конгресс считает своим долгом бороться со всеми ими. Он надеется, что рабочие, которые находятся еще в рядах этих партий, наученные уроками опыта и революционной пропагандой, прозреют и покинут политические партии для того, чтобы встать на путь революционного социализма".

О рабочих союзах конгресс высказался следующим образом: — "конгресс, признавая важность рабочих союзов и рекомендуя устраивать их на международной почве, заявляет, что рабочий союз, если у него нет другой цели, кроме улучшения положения рабочего путем уменьшения рабочих часов или путем увеличения заработной платы, никогда не приведет к освобождению пролетариата; что рабочий союз должен поставить своей главной целью уничтожение наемничества, т. е. уничтожение хозяев и овладение орудиями труда посредством экспроприации".

Конгресс закрылся при криках: — "да здравствует Интернационал!".

ОБЩЕСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС В ГЕНТЕ.

О социалистическом конгрессе в Генте придется сказать очень мало. На конгрессе присутствовали, в числе других делегатов, 11 членов Интернационала. Они (а, быть может, только 9 из них) стояли за то, что пролетариату не за чем принимать участие в парламентской политике, так как в этом случае он всегда был одурочен, что его задача, это — разрушение государства социальной революцией и, конечно, коммунизм. Против членов Интернационала выступали сторонники участия рабочих в парламентской политике, организации пролетариата в партию и захвата этой партией государственной власти.

Примирения между этими течениями не могло состояться.

Отметим, мимоходом, что голландские рабочие прекрасно относились к членам Интернационала, что письмо Маркса от 27-го сентября 1877-го года к Зорге, говорящее об этом конгрессе, можно объяснить или тем, что Мальтман Бери, присутствовавший на этом конгрессе, злобно обманул Маркса или тем, что Маркс просто не имел об этом конгрессе точных сведений. (Смотрите примечания к этому письму в 4-м томе книги Ж. Гилльома "Интернационал. Документы и воспоминания". Стр. 279—280, французского издания).

РОЛЬ ГЛАВНОГО СОВЕТА.

Задачи Главного Совета были довольно скромными: он представлял конгрессам доклады о работе Интернационала, следил за положением рабочего вопроса в разных странах, должен был помогать отделам Интернационала сноситься друг с другом и должен был выполнять постановления конгресса.

Главный Совет, как и другие организации Интернационала, собирал для забастовщиков средства, уговаривал стачколомов-иностранцев уезжать домой, организовывал помощь раненым при столкновении с войсками и семьями убитых рабочих.

Этот Совет писал по разным вопросам письма правительствам, которые не считались, впро-

чем, с этими произведениями. Написал Главный Совет и послание американскому народу, который, конечно, не читал этого послания. Главный Совет издавал иногда свои адреса-манифесты, о которых говорилось уже в этой книжке.

В Совете были англичане, немцы (вторая по численности группа), французы, итальянцы и представители других наций. Большинство членов были рабочие и писатель К. Маркс очень скоро стал играть в Совете главную роль. "Хотя немцев в Интернационале было мало, — пишет В. Черкезов, — тем не менее случилось так, что Генеральный Совет великой Ассоциации, заседавший в Лондоне, очутился в руках немцев, собственно говоря Маркса и Энгельса и нескольких малообразованных стариков немецких рабочих, уцелевших от 1848-го года и послушных орудий в руках Маркса и Энгельса. Господа эти... мечтали стать диктаторами международного движения и направить последнее на легальный парламентаризм".

Поклонник К. Маркса г. Пекк в своей невозможной истории Интернационала откровенно пишет следующее: "как известно Главный Совет противодействовал учреждению английского федерального совета, пока К. Маркс верил в возможность великой европейской революции, так как он хотел иметь рычаг революции в своих руках". Ну, если это "известно", то слова В. Черкезова неоспоримы. Впрочем и сам Маркс, которому не удалось, впрочем, повлиять на английское движение, признался, что мечтал о владычестве над Интернационалом. "Грядущая революция — писал в письме от 11-го сентября 1867-го года Маркс Энгельсу — ближе, чем то кажется и мы, то есть, я и ты, будем иметь в руках это могущественное орудие" (Интернационал). Необходимо отметить, что Главный Совет, постоянно выступавший со своими непростительными указаниями и постановлениями, сильно вредил интернациональному движению.

Руководитель Главного Совета Маркс, враждебно относился к другим членам Интернационала и не так уж редко осыпал их дикой руганью. В своих письмах К. Маркс называл французских рабочих жабами; парижских рабочих он честил хвостунами, невеждами, болтунами, их

делегатов — старыми нечистотами, глупцами, прудовскими осликами. Он дошел в своей невозможной ненависти до того, что в письме к Энгельсу от 29-го августа 1867-го года радовался аресту парижских членов Интернационала: — "к счастью, наши старые знакомые в Париже все в тюрьме", писал он. Об английских членах Главного Совета Маркс писал: — "грязные псы между тред-юнионистами, которые находили, что мы зашли слишком далеко, догоняют нас белыми шагами..." Он пишет, что Оджер, Кремер, Поттер завидуют ему и Энгельсу. "Нет, — замечает В. Черкезов, — эти честные люди не завидовали Марксу и Энгельсу, а, заметив их диктаторские интриги, стали отстраняться". Надо, впрочем, заметить, что предлогом для выхода Оджера и Люкрафта из Главного Совета послужило их недовольство брошюрой К. Маркса "Гражданская война во Франции". Эта брошюра была выпущена, как манифест Главного Совета. Названные англичане не сочувствовали Парижской Коммуне.

Мы знаем, как клеветал Маркс на М. А. Бакунина и станет понятным, какое значение имело для Интернационала нахождение во главе Главного Совета названного политического деятеля. Тайные и явные сплетни, клеветы, ругательные письма (например, Гинсу), злобные брошюры ближайших сторонников Маркса, невозможная нравственная неряшливость Маркса породили в рядах интернационалистов отвращение и презрение к Главному Совету.

Даже некоторые члены Главного Совета не выдержали и встали в оппозицию к Марксу. Так, например, Эккарнус, Гальс, Юнг, Моттершид и другие, убедившись, что Маркс желает господствовать в английском федеральном Совете, встали по отношению к нему в резкую, непримиримую оппозицию.

Очень много интриговал Главный Совет. Очень мало делал он для освобождения рабочих и точными надо признать следующие слова П. А. Кропоткина: — "в 1872-м году юрская федерация восстала против авторитета Генерального Совета Интернационала. Великий международный союз был вполне рабочим движением: и сами рабочие так и смотрели на него, вовсе

не считая свой союз политической партией. В восточной Бельгии, например, работники внесли в устав параграф, в силу которого не занимающийся ручным трудом не мог быть членом секции. Даже нарядчики не допускались. Кроме того, рабочие были вполне федералисты. Каждая нация, каждая отдельная область и даже каждая отдельная секция должны были пользоваться полной самостоятельностью развития. Но буржуазные революционеры старой школы, вступивши в Интернационал и проникнутые понятиями о централизованных, пирамидальных тайных обществах прежних времен, ввели те же понятия в международный союз рабочих. Кроме федеральных и национальных советов, был назначен в Лондоне Генеральный Совет, который становился посредником между различными национальностями. Маркс и Энгельс были его руководителями. Скоро, однако, выяснилось, что самый факт существования подобного центрального совета влечет за собою весьма большие неудобства. Генеральный Совет не удовлетворялся ролью центрального бюро для сношений. Он стремился захватить все движение в свои руки, — то одобряя, то порицая деятельность не только различных секций и федераций, но и отдельных членов. Когда началось восстание коммунаров в Париже и вождям приходилось лишь следовать за движением, не зная, куда оно их приведет на следующий день, — Генеральный Совет непременно хотел руководить ходом дел, сидя в Лондоне. Он требовал ежедневных рапортов, отдавал приказы, одобрял, делал внушения и таким образом наглядно доказывал, как невыгодно даже Ассоциации иметь правительственное ядро. Невыгода стала еще более очевидна, когда, после тайного съезда в 1872-м году, Генеральный Совет, поддерживаемый немногими делегатами, решил поворотить все силы Интернационала на выборную агитацию. Многие увидели тогда всю нежелательность правительства, как бы демократично ни было его происхождение.

На гаагском собрании был выбран новый Главный Совет из 12-ти членов с правом присоединить к нему еще трех членов. Двое из выбранных двенадцати отказались участвовать в Совете, двое должны были быть удалены, один

сам оставил Совет, один находился в долговременном отпуску. К Совету был присоединен не выбранный в Гааге, но присутствовавший на съезде Зорге.

Переведенный в Нью Йорк и руководимый письмами из Европы Главный Совет, в свою очередь, пытался тормозить деятельность Интернационала. На его распоряжения не обращали внимания и странное впечатление производили его пропадавшие в воздухе приказы. Этот Совет кооптировал Зорге, которого даже на Гаагском собрании не посмели предложить в члены Главного Совета. Зорге занял в Совете место секретаря. В октябре 1872-го года Совет выпустил циркуляр, в котором значилось, между прочим, что по решению Гаагского собрания "политическая деятельность стала обязательной для членов Интернационала".

Этот Совет заявил, что он не признает резолюций конгресса в С. Имье, чем вовсе не интересовались представленные на этом конгрессе Федерации. Зорге предложил Юрской Федерации произвести голосование во всех ее секциях по поводу резолюций названного конгресса или созвать новый конгресс для отмены не правившихся марксистам решений. При этом он дал Федерации сорокадневный срок для ответа.

Юрская Федерация напечатала письмо Зорге в "Бюллетене" и заметила, что секции высказались уже по поводу решений конгресса, причем 11 секций высказались против постановления Гаагского собрания и только одна высказалась за него, так как гаагское собрание признало необходимость политической борьбы. Затем, ссылаясь на договор дружбы, Юрская Федерация обратилась к остальным федерациям, прося их высказаться по поводу письма Зорге.

Не получив в течение 59 дней ответа от юрцев, Главный Совет заявил, что он исключает Юрскую Федерацию из Интернационала до следующего международного конгресса. На это заявление обратила некоторое внимание только одна "пытавшаяся сохранить нейтралитет" Голландская Федерация, но и она заявила, что "не признает закрытия Юрской Федерации".

Говоря вообще, с Главным Советом никто не считался, что не мешало ему написать

30-го мая бумагу, в которой значилось, что он исключает из Международного Товарищества Рабочих федерации Бельгии, Испании и Англии (не признавшие этот Совет) и назначил международный конгресс на 8 сентября 1873-го года в Женеве. Мы знаем уже, что этот конгресс совершенно не удался. Заметим, что бумага об исключении федераций из Интернационала была написана по распоряжению старых заправил Главного Совета *).

Впрочем, оппозиция против Зорге тотчас же возникла в Нью Йоркском Главном Совете.

В августе 1874-го года Зорге предложил передать архив Интернационала в руки трех лиц, ликвидируя таким образом дело. Его предложение не было принято Нью Йоркским Советом и, вместо Зорге, секретарем был выбран Шпейер.

П. А. Лавров так характеризовал отношение к Главному Совету Международного Товарищества Рабочих: — "авторитет Главного Совета был подорван еще ранее Гаагского конгресса, был еще ослаблен мерами, которые были приняты для его усиления на Гаагском конгрессе, был доведен до минимума перенесением местопребывания Совета в Нью Йорк".

15-го июля 1876-го года так называемая ко-

*) Ю. М. Стеклов, с выводами которого по поводу течений революционной мысли в Интернационале, автор этой книги далеко не всегда согласен, но исследование которого стоит несомненно выше такой, например, книги, как "Интернационал" Иека и как ряд книженок на французском языке, написанных о Международном Товариществе, совершенно справедливо пишет о Нью Йоркском Совете — "Генеральный Совет, в качестве фактического организационного центра, в действительности уже не существовал. Кроме издаваемых им времени от времени против юрцев и их союзников отзучений, которые вызывали с их стороны только непочтительный смех, так как фактическая сила была, несомненно, на стороне сепаратистов, Главный Совет иногда выпускал обращения к всемирному пролетариату, в том числе воззвание с призывом заняться организацией международных рабочих союзов. В общем же, члены его не могли не чувствовать, что они находятся в положении человека, размахивающего кулаками в пустом пространстве".

ференция марксистского отдела Международного Товарищества Рабочих, в которой не было, впрочем, ни одного делегата из Европы, заявила, что она распускает Международное Товарищество Рабочих. (На собрании не было ни одного делегата из Европы, если не считать проживавшего в Америке Отто Валсера, почему то считавшегося делегатом от социалистов Германии. Кроме членов Главного Совета, на конференции присутствовали 14 делегатов С.-Американской Федерации).

Едва ли кто обратил внимание на вышеуказанное заявление: титотетившего к Марксу Интернационала уже не существовало. На этой конференции Главный Совет заявил, что он в течение нескольких лет не получал членских взносов.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ.

Не говоря о недолго существовавшем в Интернационале течении, которое можно назвать буржуазно-благожелательным к рабочему классу, в нем было заметно в начале учение мютюэллистов-прудонистов. Но уже, начиная с 1868 года оно вытесняется учением коллективистов, т. е. безвластных коммунистов (анархистов-коммунистов, как говорят в наше время). На ряду с этим в Интернационале шла пропаганда учения коммунистов, считавших возможным организовать коммунистическое общество на основах государственной, принудительной власти. Усердными пропагандистами этого учения был Маркс и его последователи, хотя Маркс и не внес в учение авторитарного коммунизма чего либо нового. Как и учение Прудона (мютюэллизм), учение авторитарных коммунистов не могло дать освобождения пролетариату, но прудонизм пробуждал самостоятельность рабочих, а коммунизм укладывал эту деятельность на прокрустово ложе сомнительных гипотез и бесполезной для рабочих тактики. Это учение, объединившее многие старые и ходячие в то время мысли и гипотезы, объединившее некоторые взгляды Теодора Шустера, Видаля, Консидерана, Пеккера, Листа, обоих Бланки, французских историков первой половины XIX-го столетия, Томсона и некоторых других мыслителей, обычно считается учением Ма-

рка и Энгельса, а практически претворилось в гигантскую теоретическую пошлость — в учение о необходимости, путем участия в парламентских выборах буржуазного государства, захватить власть в руки рабочего класса.

Конечно, тактика сторонников этого учения имела мало общего с настроением Интернационала и могла быть принята только рабочими совершенно не усвоившими себе принципов международного рабочего идеала. Ясно, что для социалистов, организовавшихся в политические партии и стремящиеся к захвату в своей стране власти для вожаков этих партий, Интернационал мало нужен. Можно, конечно, играть в Интернационал, как играли в него социал-демократы многих стран до страшного экзамена последней войны, показавшего, что цена их интернационализма чересчур уж не высока.

Под конец Интернационала, в особенности же после того, как он прекратил свое существование, во многих странах появились национальные социалистические партии и это явление было в истории рабочего движения гибельным для рабочего самоосвобождения регрессом.

Социализм был быстро подменен то неизбежно мелкими буржуазными реформами, то ужасами порабощения государственным капитализмом и от рабочего социализма, выработанного первым Интернационалом, остались во многих странах только смутные воспоминания и только немногочисленные группы анархистов остались ему верными.

“Коллективисты” Интернационала считали бесполезным и вредным участие рабочих в избирательной борьбе, но не думали, что это убеждение можно навязывать несогласным с ними рабочим. По их мнению, в Интернационале могли быть членами, как авторитарные коммунисты, так и коммунисты-безвластники. Во время же стачек, коллективисты Интернационала считали необходимым помогать забастовщикам, не справляясь с тем, каких убеждений придерживаются и к какой организации принадлежат бастующие.

Нет сомнения, что в первом настоящем, не подложном рабочем Интернационале, могли ужиться два течения — социалистов государственников и социалистов антигосударственников. Но

Маркс всех членов интернационала хотел видеть последователями своего учения и, не имея возможности силой научной истины привлечь к себе людей, обратил Интернационал в обширное поприще междоусобицы. Но, конечно, Маркс и его последователи не столько своими приемами борьбы, сколько своим учением нанесли делу интернационального объединения ужасный удар, последствия которого мы ощущали в последнюю войну.

Во что выродилось и неизбежно должно было выродиться учение К. Маркса, мы видели на примере позорной деятельности германской и французской социал-демократии в мирное время и в моменты ее издевательств над постановленными международными конгрессов во время войны. Мы знаем, что могучее движение рабочих союзов было обкарнано в Германии стараниями парламентских социалистов, как обезценили и обессилили они его.

Мы знаем, что К. Маркс не был основателем Интернационала. Он воспользовался фирмой этого Товарищества для того, чтобы, без предварительного согласия его отделов, выпустить несколько своих произведений, и, между прочим, волей или неволей, сделать все возможное для того, чтобы погубить Интернационал. Попав в Главный Совет Товарищества, он, быть может, и не хотел, расшатывать эту организацию.

Международное Товарищество Рабочих передало своим преемникам-рабочим некоторых стран свои великие, и победу предвещающие, принципы безвластия, вольного коммунизма, революционности, самостоятельности, инициативы. Все движение революционных не признающих власти синдикатов, все лучшее, что можно найти в промысловом тред-юнионизме, все это было завещано грядущим поколениям рабочих первым Интернационалом. Он же завещал человечеству и идею братства народов.

Важно было то возвышенное настроение которое создавал Интернационал и в которое туземным диссонансом врывались интриги политика-нов. Важно было, что перед Интернационалистами мелькали картины свободного от власти капитала и государств общества, картины счастливой, умной, справедливой, вольной жизни. Ва-

жен был тот подъем, важно было то высокое настроение, которое создавал Интернационал и в крупнейших и в мельчайших обстоятельствах жизни. Характерен, например, следующий мелочный факт: "Большинство парижских Интернационалистов, — рассказывает П. А. Кропоткин, — не пили спиртных напитков и все оставили курение. "Зачем я стану потакать этой слабости?" — говорили они. Все мелкое, низменное исчезало, уступая место величественному и возвышенному".

Можно ли не говорить, что рабочий Интернационал развивал мощную солидарность, особенно проявлявшуюся в стачечной борьбе, которую постоянно вели его члены. Всеми известными тогда средствами, в том числе и стачкой солидарности, помогали члены Интернационала бастующим рабочим.

Подлинный Интернационал, не та мистификация, которая подносилась нам вместо него социал-демократами так называемого второго Интернационала, поддерживал всякое народное движение, но не хотел заниматься парламентской политикой.

Первый Интернационал "Международное То-

(Продолжение в след. номере).

МОЛЕНИЕ О СВОБОДЕ.

В одно воскресное утро мы, ученики Пьера Прудона, войдя в дом нашего доброго Учителя, застали его в комнате стоящим на коленях. Голову Учитель низко опустил на грудь, и, когда нам удалось разглядеть его лицо, оно поразило нас своей странной бледностью и безжизненностью.

"Учитель нездоров", тревожно заметил первый ученик: "Смотрите: его лицо бледно и неподвижно, а черты его выражают страдание".

"Он уснул", прошептал второй.

"Учитель молится", с удивлением воскликнул третий ученик и...

Мы яственно разлысали слово "бог", произнесенное устами Учителя. В тоне, каким было произнесено это отвратительное слово, не чувствовалось ни злобы, ни презрения, наоборот,

варищество Рабочих" исчез с исторической арены, оставив после себя яркие следы, посеяв те семена, которые, хотя и поздно, но дали могучие всходы.

Причины исчезновения Интернационала лежали в засильи общеевропейской реакции, в раздорах, внесенных в рабочую среду честолюбивыми интеллигентами, в увлечении рабочих на путь создания национальных рабочих социал-демократических партий, составивших второй социал-демократический интернационал, вожди которого так позорно бросились в обще-европейскую бойню, в том что рабочим вбили в голову, что, при помощи всеобщего избирательного права, они смогут добиться своего освобождения, причем только часть русских социалистов и анархистов, не дожидаясь даров этого права и не дожидаясь его, зашли вместе с рабочими России слабо разгоревшийся пожар социальной революции. Были, конечно, и другие причины погубившие действительный Интернационал, который, как Феникс из пепла, сможет возродиться только после урока, данного всевозможным социал-демократическим партиям последней войной.

горячая вера и любовь слышались в нем. Так обращается к богу только истинно-верующий.

Но неужели Учитель молился?!? Мы отказывались поверить этому, каждый из нас в ту минуту в смущении думал про себя: "Как может молиться он, непримиримый противник бога, который всегда поучал нас: "возненавидьте господа бога всем разумом своим и всеми помыслами своими"? Сердца наши забились тревогу и, казалось, готовы были лопнуть от негодования.

Изумленные, насмешливые и разочарованные толпились мы у порога комнаты, способные броситься к Учителю, прервать его молитву, посмеяться над ним, упрекнуть его во лжи, в лицемерии, в безумии, в чем угодно!..

Воистину велико было наше изумление и

не было ему предела.

Ибо в прежнее время, когда Учитель говорил о боге, в словах его проскальзывали величайшее презрение и ненависть.

Досужая толпа, наслышавшись об антирелигиозных выпадах Учителя, разсуждала о нем: "Он личный враг бога, поклонник Сатаны, Антихрист, Существо, которому имени нет..."

Шутя или серьезно, но рассказывали об Учителе: "Самое слово бог способно вызвать в нем чувство возмущения и негодования".

Вот как проповедывал достопочтенный Учитель о боге:

"Бог есть зло.

Если бог существует, то он враг человека".

И еще:

"На каком основании бог мне скажет: будь свят, ибо я свят?" Лживый дух, глупый бог, отвечу я, твое царство кончилось: нищи других жертв среди животных. Я знаю, что я не святой и никогда не сумею им стать; как же можешь быть свят ты, если я похож на тебя? Мы научились понимать тебя, вечный отец, Юпитер или Иегова: ты всегда будешь соперником Адама и тираном Прометея. Ты заставляешь нас совершать грехи, от которых мы у тебя же просим отпущения; ты сам поставил нам западню, из которой мы обещаем тебе освободиться; ты — сатана, тот самый сатана, который мучает нас... Но теперь ты свергнут с трона и уничтожен. Твое имя, бывшее когда-то последним словом ученого, санкцией судьи, надеждой бедняка, убежищем преступника, теперь обречено на ненависть и анафему: освящать его будут люди. Ибо бог есть вздор и трусость; бог — лицемерие и ложь; бог — тирания и нищета; бог — это зло..." *)

Так проповедывал достопочтенный Учитель о боге.

И вот теперь этот "закоренелый атеист" смиренно преклонил колени перед тем самым богом, которого он так зло высмеивал и так неуважительно презирал. Подобного "внутреннего противоречия" трудно было ожидать даже от тако-

го "невозможного диалектика", каким слыл наш добрый Учитель. Повторяю, мы неистовствовали в своем возмущении и готовы были, прервав молитву Учителя, решительно потребовать от него объяснений и даже оскорбить его.

Но первый ученик удержал нас от этого необдуманного шага. "Тише, тише", прошептал он: "Мы должны раньше узнать о чем молится Учитель, тогда мы сможем сказать ему, что его обращение к богу недено и дико, и что каждое слово его молитвы лживо и бессмысленно".

Мы послушались этого совета, не потому что он показался нам благоразумным. Какая то другая сила остановила нас у порога комнаты. Я думаю, этой силой было чувство любви и уважения к нашему Наставнику, которое никогда не покидало нас. Вот и сейчас оно быстро укротило бурные страсти, разыгравшиеся в наших молодых сердцах и заставило нас внимательно прислушаться к тому, что говорил коленапреклоненный Учитель.

Вот что мы услышали:

"Бог Свободы и Равенства!" воскликнул Учитель и его голос прозвучал, как нежная музыка арфы, ожившей в руках возлюбленного.

"Бог Свободы и Равенства!" — Голос Учителя окреп; он гремел и грохотал, подобно мощным перезвонам набата, призывающего народ к грозному бунту.

"Бог Свободы и Равенства! Бог, вложивший в сердце мое чувство справедливости, прежде чем мой разум постиг его, услышь мою пламенную мольбу. Ты создал мою мысль, направлял мои труды, наполнил мой ум любознательностью, а сердце любовью для того чтобы я возвестил твою Истину господам и слугам. Я употребил все данные тобою силы и способности на эту проповедь; теперь тебе осталось доверить свое дело. Ты знаешь стремлюсь ли я к собственным выгодам или к твоему, о Бог Свободы, прославлению! Пусть память обо мне исчезнет, но пусть человечество будет свободно; пусть я в своей безвестности увижу просвещенный народ; пусть его просвещают благородные наставники, пусть им руководят самоотверженные сердца. Сократи, если это возможно, время наших испытаний; утопи гордость в равенстве; уничтожь идолопож-

*) См. у Прудона: "Экономические противоречия" гл. VIII.

любовью славе, благодаря которому мы живем в унижении, убедил этих бедных детей, что пред лицом Свободы нет ни героев, ни великих людей. Внушил могущественному, богатому, тому, чье имя уста мои никогда не произнесут в твоём присутствии, отвращение к грабежу; пусть он первый требует возвращения взятого, пусть готовность к раскаянию является для него единственным условием прощения. Тогда великие и

малые, ученые и невежды, богатые и бедные сольются в один ненарушимый братский союз и с пением нового гимна воздвигнут алтарь тебе, Богу Свободы и Равенства“ *).

А. К....

*) См. у Прудона: "Что такое собственность" гл. V, 2 ч. 3 п.

ЗАПИСИ ТЮРЕМНЫЕ.

Марк Мрачный.

От автора: Эти "записи" мои у меня уж очень долго лежат и я о них, признаться, чуть ли не забыл. Теперь же думаю, что было бы, может быть, полезно их опубликовать. Во-первых, пропаганда, во-вторых, материал полу-исторический. Поэтому, решаюсь их передать печати, хотя неприятно говорить от себя и о себе.

М. М.

А. Барону и Давиду Когану, пленникам
большевицкой диктатуры посвящаю

Харьков, 18 ноября 1920 года.

Дело может быть темперамента, но я с трудом увлекаюсь. Вот сейчас, чего казалось бы лучше: вышла наша организация, благодаря договору советской власти с Махно, на арену легальной общественной деятельности. Секретариат нашей Конфедерации получает массу писем о вновь возрождающейся открытой деятельности наших организаций не только в таких крупных центрах, как Одесса и Екатеринослав, но и в целом ряде городков и волостей, приезжают с разных концов Украины возбужденные и жаждущие деятельности товарищи; выходит наш орган "Набат" и с громадным интересом, с какой то особой каждой живого слова читается и комментируется; клуб нашей организации с самого утра до поздней ночи битком набит народом; рарочие приходят к нам за всякого рода справками, с жалобами на комычейки и прочее "начальство"; 1-го декабря у нас будет съезд Конфедерации анархических организаций Украины

"Набат" и мы пригласили на этот съезд многих анархистов и анархо-синдикалистов из центральной России и даже с Урала и Сибири. Работа, как будто, кипит и ширится.

А мне, признаться, не весело. Не жизненно все это; нет, как бы лучше выразиться, реальных основ нашей легальной жизни при режиме, который давит и душит всякое живое маломальски революционное слово. Меншевики арестовываются у нас на глазах, участники левозэровской нелегальной конференции, недавно имевшей место в Харькове, все почти сидят в Холмогорской каторжной тюрьме, а анархистов нет-нет, а все же освобождают из украинских тюрем. Разве это похоже на настоящую, не сочиненную действительность? Разве это не смахивает, скорее, на один из многочисленных трагикомических фарсов, которыми так богата незустеская политика "коммунистического" правительства.

Неестественность нашей легальной работы не мне одному, понятное дело, очевидна. В обращении нашего Секретариата ко всем анархическим организациям и отдельным товарищам мы определенно считали нужным подчеркнуть ("Набат" № 2, 15 ноября 1920 г.), что "возможность легализоваться анархистским организациям следует рассматривать, не как сдвиг в революцию, не как завоевание, а как случайный каприз скорее военного характера".

Поэтому меня не особенно радует, что нас тащат на заводы, в мастерские на собрания слушающих и даже в деревни поговорить, лекцию ка-

кую нибудь прочитать и т. д. Не прихожу в чрезмерный восторг оттого, что масса рабочих, красноармейцев и просто обывателей толпится у нас в помещении маленького клуба и чутко прислушивается к нашим беседам, зачастую принимая самое горячее участие в дискуссиях с большевиками, которые иногда пробуют отстаивать свои взгляды. Дело ведь ясное и человечески понятное. Люди истомились от душашей диктатуры, немоготу стало рабочему люду от жизни голодной и холодной и отсутствия малейшей возможности выпрямить спину, потолковать о своей трудовой горе-жизни. Вот и обрадовались появившейся отдушине, приходят к нам, что называется, душу отвести, почувствовать себя, хоть на несколько часов, в атмосфере товарищеской и свободной. Но многие из посетителей нашего клуба вовсе не интересуются глубоко учением анархизма, многие чуваки всерьез думают, что Конфедерация "Набат" и махновская армия едино суть. Да многим и наплевать на всякие там теории: люди за Социальную Революцию, за вольные советы и против господствующей партии коммунистов — вот и ладно. А, впрочем, что я расписался? В комнате моей такой холод собачий, что я вот неделю-две вынужден спать совсем одетым, а сейчас даже сижу в шинели и в худых валенках, оковеневшие пальцы еле держат карандаш и стеариновая свечка скупо освещает пол-стола, где я беседую с моей записной книжкой.

Ложись, брат, спать. Завтра в типографию бегать надо, сдавать материалы для следующего номера газеты, затем совещание членов Секретариата, а там, гляди, уже и вечер и нужно будет в клубе провести собеседование. Завтра ночью снова нужно будет корректурой статей заниматься и на письма отвечать. Хорошо все таки будет, если дадут нам большевики подышать спокойно хоть несколько месяцев. Мы тогда съезд наш честь-честью проведем, может быть удастся выработать общую принципиальную платформу и единую тактическую линию. А пока надо работать, работать, работать. Плохо только, что людей у нас мало: нужно газету издавать, и на рабочих собраниях и митингах выступать, готовить доклады,

а тут провинциальные организации обвиняют нас, что Секретариат целиком ушел в работу харьковской организации и забыл свою прямую обязанность: об'езд групп и работу обще-конфедерационную.

Да, работников у нас мало, а дела во сколько.

Во многих здешних предприятиях и в мастерских образовались группы рабочих, интересующихся учением анархизма. Нужно было бы для одного только Харькова хоть пять анархически-грамотных пропагандистов, а нас, между нами говоря, "полтора Тараса", как выражается украинский крестьянин.

А пока, брат, потуши свечку (850 целковых стоит) и — на боковую. Господи, как холодно.

27 ноября 1920 г. Камера № 13.
Тюрьма Центральн. Управления Чрезвычай.
Комиссии Украины.

Несмотря на весь мой пессимизм я был неприятно поражен, когда позавчера ночью ко мне пришли с обыском и с орденом на право ареста. Трудно было сразу привыкнуть к мысли, что задержится очередной номер "Набата", так скоро и грубо будет прервана развернувшаяся было работа. Трудно было проснуться от прекрасной невероятной сказки и войти снова в настоящую большевистскую тюремную действительность...

Но комиссары, присутствовавшие при обыске, были преувеличенно грубы и с каким то ожесточением обшаривали мою комнату, рядовые чекисты и солдаты из войск Охраны были усталые и злые. Они готовились, должно быть, к бомбам и стрельбе, а оказывается, что гнали их в холодную ноябрьскую ночь на обыск к какому то на вид не особенно страшному человеку, у которого вся комната завалена книгами, газетами и бумагами.

Столько народу влезло в комнату разом! Ощупывали стены, заглянули в печку, подушку помаяли, долго рылись в книгах и письмах. (Мне все же удалось засунуть в сапог печатать организации и несколько нужных адресов). Старший комиссар сел важно составлять протокол,

но я ему заявил, что я его, кажется, к себе не приглашал для описи моего "имущества", знакомиться с ним считаю для себя нежелательным, а посему фамилии своей не назову (у меня нашли несколько паспортных книжек и удостоверений на разные фамилии) и протокола не подпишу. Ответ мой, видно, обозлил чекистов. Они бормотали какие то угрозы. Но мне не до них было. Думал я о том, арестовывают сейчас всех наших или меня одного удостоила Чека визитом. Если это поголовный арест анархистов, значит советская власть решила плюнуть на подписанный ее представителями совместно с представителями махновской повстанческой армии мирный договор. Значит — снова кровавые преследования революционных повстанцев, которые только что разбили Врангеля и спасли Украину от очередного наступления белогвардейцев. Снова — анархическое движение в подполье. Кто уцелеет от ареста? Кому придется наладить и продолжать работу организации?

Четыре хорошо вооруженных чекиста увело меня из дому. Палал большими хлопьями мягкий снег. Улица была тиха под своим белым покрывалом. Мы быстро дошли до Цупчрезкома (Центральное Управление Чрезвычайных Комиссий Украины), где ярко горело электричество, шмыгали какие то тени в окнах. Повели меня на первый этаж в большой зал, где за многочисленными столами и столиками сидели с видом занятым и до тошноты усталым какие то люди, хорошо одетые и с наглыми лицами. Стучали на машинках сотрудники, весело болтая. Арестованных в этом зале было порядочно. Громко и возбужденно острил А. Барон, чем то возмущался какой то случайно арестованный рабочий, плакала старая женщина, которая все старалась убедить чекиста за столом, что она в заговоре анархическом не участвовала, а за квартирентов своих она не отвечает. Было очень шумно и необычайно ярко горело электричество. Я успел осмотреть публику, обменялся с Бароном парой шутивых фраз и узнал, что большинство наших товарищей арестовано, что повсюду оставлены засады и операции, как выражаются чекисты, продолжается. Прибывали арестованные то группами, то в одиночку.

Между тем нас сортировали. Меня с Бароном отправили в камеру № 14, но через несколько часов перевели в соседнюю камеру.

Комната у нас небольшая и сырая. Раньше, видно, служила погребом. Теперь приспособили к подслеповатому окошку решетку, вставили печурку, пару нар, поставили молоденького парня крестьянского с винтовкой у дверей и — тюрьма готова.

Неописуемый шум царит в трехэтажной наскоро устроенной тюрьме. Нашего полку, видно, прибывает. Охраняющие нас солдаты сперва относятся к нам крайне враждебно, но они скоро убеждаются, что мы вовсе не белогвардейцы (как им сказала начальство) и тогда они нам передают массу новостей: обыски и аресты в городе продолжают, рабочие паровозостроительного завода, бастовавшие уже несколько времени до нашего ареста (с экономическими требованиями) выставили еще одно требование — освобождение анархистов и махновцев. В городе циркулируют слухи, что Махно наступает на Харьков.

29 ноября 1920 г.

Камера № 10, Цупчрезком.

Перевели нас вчера в камеру № 10, что на 3 этаже. Народу здесь много, а камера малюсенькая. Встретились со всей нашей публикой, которая сидит здесь с 26-го. Весь этаж наш полон арестованными по нашему делу. Передают, что в подвалах Губернской Чеки и в каторжной тюрьме, что на Холодной горе, появилось масса анархистов и сочувствующих. А засады на квартирах, в нашем книжном магазине и в клубе не сняты. Признаться, меня не так возмущает мой арест и почти поголовный разгром нашей организации, меня даже не так раздражают ушаты грязи и самой фантастической клеветы, которыми нас обливают казенные газеты ("Известия", "Коммунист", Пролетарий и т. д.), как глубоко волнует такой, казалось бы, маловажный и не кричащий факт: наш книжный магазин "Вольное Братство", который с такими трудностями и, рискуя за частую жизнью, мы спасли от денкинских ищек и контрразведчиков, теперь окончательно разгромлен советской властью.

Три дня подряд хозяйничали там чекисты, книги и брошюры Бакунина, Малатесты, Кропоткина и др. рвались, уносились куда то и сжигались. И это в стране, где свирепствует книжный голод, в красной столице "революционной" Украины...

В подземельи Цупчрезкома.

Атмосфера в тюрьме все накаляется. На воле продолжается та же травля анархистов, паровозостроительный завод все бастует, казенная печать распоясалась и не знает удержу клевете и лжи. Вместе с тем разные слухи, нелепые и фантастические, циркулируют по городу и проникают к нам через часовых (парней в общем безобидных и относящихся к нам даже смутно-сочувственно, так как принимают за махновцев) и через вновь прибывающих арестованных.

В камере № 10 тесно невероятно и душно. Барон, еще несколько человек и я стоим у дверей камеры и через водчок ведем беседу с кем то из соседней камеры. Часовой, стоящий у наших дверей, махнул уже давно рукой на наше нарушение тюремного регламента и с тревогой оглядывается по сторонам, что-б начальство не наслохило.

Вдруг, откуда ни возьмись, появился около нас начальник тюрьмы Цупчрезкома Судаков, франтоватый самодовольный малый.

— "Здравствуйте, товарищи".

Ему никто не ответил на приветствие. Кто то из нас только ему задал вопрос возмущенно: "Да позвольте, какие мы с вами товарищи?"

— "Видите ли, товарищи анархисты, я ведь сам рабочий и даже, в начале революции, был членом анархистского партизанского отряда", возразил Судаков, как бы извиняясь. Но нервы были уже и так достаточно взвинчены за последние дни. Нужно еще добавить, что в знак протеста нашего, ничем не мотивированного ареста, мы объявили голодовку и уже два дня отказывались от пищи. А тут, как на грех подвернулся этот толстомерный тюремщик, который нас еще за-наибраты товарищами называет.

— "Бывают бывшие рабочие, как встречаются бывшие люди..." возразил я "товарищу" начальнику тюрьмы.

А Барон добавил желчно: "Вот великая пишка: бывший рабочий, сейчас же вы настоящий жандарм".

"Начальство" оторопело и пришло в бешенство от полученной пощечины.

Прошло несколько тяжелых минут, чувствовалось, что надвигается что то неотвратимое и тяжелое. Открыли резко дверь нашей камеры, сразу притихшей, и вошел бледный, как будто смущенный помощник начальника тюрьмы, какой то звероподобный мущина в круглой чербеске.

— "Барон, идите за мной".

— "Вы куда это зовете Барона?" — спросил кто то из нас.

— "Не ваше дело. Барон, идете?"

Товарищ Барон бледный и слегка растерянный натягивал на себя пальто и нервно мял в руках шапку.

— "Нет, ребята, мы Барона не должны так здорово-живешь отдавать в руки этим палачам. Они уведут его в карцер и, без сомнения, будут бить, чтобы отомстить за поруганную честь начальства. Это практикуется в Чека" заявил кто то из нашей камеры.

Это послужило как бы сигналом. В один миг были пододвинуты койки к дверям, приспосobili стол и — воздвигнули баррикаду.

— "Как, сопротивляться? Мать вашу... Бандиты, махновцы вы, головорезы... Церемониться с вами будем?.. Сейчас же снимите баррикаду, мать вашу..., а не то я вас, сукиных детей, как куропаток перестреляю".

Барон попробовал было нас урезонить, но отступать уже было нельзя, да и ругань тюремщика уже сильно вывела из равновесия. Все молчали, но никто из нас не сделал движения, чтобы разобрать баррикаду.

Между тем "начальство" продолжало с бешеным ругаться и распоряжаться. Послышались тяжелые шаги вновь приведенных солдат, которые с винтовками на перевес, выстроились в коридоре против дверей камер. Привинтили сразу волчки всех камер. Зловещая предгрозовая тишина воцарилась сразу во всей тюрьме.

Судаков просунул руку с наганом в волчок и, продолжая неистово ругаться, приказывал открыть дверь.

Интересно вот что: в нашей камере № 10 кроме анархистов (Барона, Бирюлина, Волина, Давида Котана и меня) было несколько рабочих из паровозостроительного завода, какой то бывший начальник районной городской милиции и несколько человек, которых мы принимали за "наседок" (особый вид тайного сотрудника Чека, подсаживаемый в камеру для выведывания нужных следователю тайн). Все же никто не двинулся с места, чтобы открыть дверь разъяренному "начальству".

Грянул выстрел, пуля попала в окно.

— "Ложись, ребята, на пол, а не то эта собака нас перестреляет" крикнул начальник милиции

Сразу все легли на пол. Волин, проспавший, было, весь скандал и проснувшийся только при первом выстреле, сопровождаемом руганью Судаков, полулежал на топчане и бледная улыбка блуждала на его лице (мне почему то из всей этой истории запомнилась полу-растерянная улыбка Волина и деловитый вид бывшего начальника милиции, который с видом привычным залезал под топчан, как бы в окоп).

Грянуло подряд еще несколько выстрелов, из которых один попал в наш угол. Видно, от бешенства дрожала рука убийцы и он не мог сразу попасть в людей.

— "Что ж это вы? Подождите! Ведь не все согласны," крикнул какой то беспартийный из наших сокамерников. Робко подошел к баррикаде и снял верхний топчан. Ему кто-то помог и — через минуту проход был открыт. Ворвались в камеру начальник тюрьмы Судаков, его помощник и несколько взбешенных чекистов с нагавами в руках.

— "Барон, идите".

Не спеша, вышел из камеры бледный Барон, бросив тихое: "Прощайте, товарищи!"

Стало так безумно больно отпускать товарища, как бы отдавать его.

Снова открылась дверь камеры, просунулась голова помощника начальника тюрьмы и был брошен резкий крик:

"Эй, вы, бородач в очках, идите за мной".

Стараясь не смотреть товарищам в глаза, я быстро натянул на себя шинель, надвинул ша-

пку на голову (пробежала мысль: "если будут бить, может голову не затрясать") и вышел из камеры, тихо поспевая с оставшимися.

Медленно мы со второго этажа, до жути тихого. Провели меня по корридору первого этажа, где сидели т. т. женщины (Фанни Авруцкая, Фанни Барон, Лия Готман, Оля Таратута, Лиза Тиновицкая и др.). Они ничего еще, конечно, не знали. Кто то из них успел мне задать вопрос, куда меня ведут, но конвоиры мол грубо подтолкнули меня дальше и мы вышли во двор тюрьмы.

Сразу охватил меня морозный солнечный день. Увидел я самого обыкновенного рабочего, который, напевая, что то мастерил у забора, несколько солдат в остроконечных шапках весело о чем то болтали. Они сразу затихли при виде нашей группы. Меня повели по двору, спустились в погреб, с трудом открыли железную дверь и оставили меня в какой то подземельной клетке, куда раньше запасливые хозяева клали каменный уголь для топки.

Холодно в моей клетке и сыро. Мебели нет никакой, а сидеть на каменный пол — удовольствие не из больших. Эх, чорт возьми, махорки не захватил с собой. А голод так и сосет: ведь сегодня уже вторые сутки нашей голодовки.

Хорошо хоть, что кусочек карандаша и записная книжечка остались в кармане. Стоя, записывая события сегодняшнего тревожного дня и невольно прислушиваясь к малейшему шороху в подземелье: "Не идут ли уже пьяные чекисты излить на меня свою темную злобу и жажду человеческих мучений?"

Быстро спускается ночь. Так холодно, что ног под собой не чувствую. Эх, закурить бы!

Около 12-ти часов ночи раздался какие то шаги, лязгнула дверь. Я, уставший и полузамерзший, сидел в углу каморки в тоскливой полудреме, но поспешил сейчас же встать.

— "Можете обратно в камеру идти" сказал мне какой то чин.

Сперва не верилось, думал, что готовят какую нибудь гадость специальную, но, видно, высшее начальство узнало о стрельбе по нас и распорядилось дело пока уладить.

2 декабря 1920 г.

В камере № 10, большое оживление. На с'езд Конфедерации "Левый" прибывают многочисленные делегаты с разных концов Украины и России и большая часть попадает в Цупчрезком. Вчера к нам привезли Николая Ч. с группой полтавских товарищей.

Николая с женой и двумя детьми арестовали еще в пути и препроводили его к нам в камеру, в "мандатную комиссию" с'езда, как кто то окрестил в шутку камеру № 10. Тщедушный, замкнуто-молчаливый, лишь редко дарящий не то ласковой не то насмешливой улыбкой, Николай, производит на меня приятное впечатление "чоловика", который знает, что он хочет и умеет сильно хотеть.

Привели к нам Ярчука, делегата Временного Бюро Российской Конфедер. Анархо-Синдикалистов. Он привез нам кучу новостей о тех товарищах, которые еще не попали в руки агентов Чека и стараются спасти от окончательного разгрома остатки нашей организации. Скоро к нам прислали Б. Стоянова, приехавшего на с'езд с уймой докладов и проектов. Товарищ В., делегат анархической рабочей группы Донецкого Бассейна пришел к нам с таким довольным видом, будто в самом деле попал на открытие с'езда. Какой то плюгавенький шпик хотел к нам втереться, но мы заявили строго дежурному коменданту, что нас в камере 21 человек и больше никого принять не можем. А спать, в самом деле, скверно. Электричество ярко горит всю ночь. Лежим рядышком так тесно, что, если двинешь невольно рукой, соседа разбудишь. Поэтому часть нашей камеры предпочитает проводить ночь за разговором. Мы даже решили устроить открытие с'езда. Сперва стеснялись, а затем все более и более увлекаясь, Барон взобрался на стул, который он поставил на топчан и с сердцем горячо и увлекательно указывал на несовместимость диктатуры с анархической идеологией. Б. Стоянов начал длинный, интересный, местами парадоксальный доклад об интериндивидуализме, но кто то его непочтительно прервал и он разозлился и бросил читать. А потом рассказывал Волин долго и красочно о своем побеге из Франции во время войны.

... А порой бывают мысли, что это все мне лишь только кажется, все так иллюзорно: и наш арест, и смерть, которая витает над головами многих из нас и революционные песни, которые часто раздаются то в одной, то в другой камере, и медленная смерть левого социалиста-революционера Карелина, который объявил смертельную голодовку, требуя освобождения. И лицо "Иисусика", Давида Когана, полубольного, но богатой души человека, мне кажется нездешним, как бы обреченным на мучения, добровольно принятые. Молчаливый и сосредоточенный он живет среди нас, улыбающийся иногда и немного чужой.

Около 4-х часов утра, когда я заснул усталый от шума и криков, и своих мыслей, меня разбудили и позвали на допрос.

Изменническое нападение на махновскую армию и арест представителей махновской мирной делегации и, заодно разгром анархических организаций был большевиками тщательно подготовлен заранее. Но пока, видно, еще нет определенного плана по отношению к нам. А, впрочем, кто знает? Пока что предварительное следствие по нашему делу поручено следователю Украинской Чека Бенедикту Рыжину, бывшему анархисту. Этот Рыжия принадлежал в начале революции к типу все разрушающих (на словах) анархо-индивидуалистов, был редактором или со-редактором анархической газетки где то в Нижнем, кажется, и писал скромно статьи на животрепещущую тему "Бог и Я" и тому подобное. Проповедывал он экзизм, "через разрушение всего ко всему" и т. д. был он кокаинистом и по своему паразитировал революцию. В 1919 году в нем "произошел перелом", он вступил в коммунистическую партию, а оттуда ведь до Чеки рукой подать. Вот теперь выпало на долю этого "анархо-спеца" расследовать наши "дела".

Быстро вывели меня из тюрьмы, провели через улицу в соседний дом, где заседает коллегия Цупчрезкома. Мои конвоиры должны были целому ряду часовых пропуск показывать, пока мы доберемся до второго этажа. Прошли мы анфиладу комнат, жутко гулких и пустых. Попали в одну комнату, где спал на столе мирно дежурный сотрудник.

Прошли еще темный корридор. Конвоир мой постучался в одну дверь и выпустил меня в большую, барскую комнату, где на широком диване спал кто-то, крепко похрапывая под шумбой, а за письменным столом с электрической лампой под зеленым абажуром сидел высокий, худой с нервными чуть-чуть жеманными движениями человек. Это был Рыжик. Я с ним случайно познакомился в 1919 году еще до вступления его в партию.

— "А, товарищ Марк, садитесь" проговорил с деланной развязностью Рыжик. Он сделал было попытку начать общий разговор, но я его прервал и спросил, зачем он меня заставил в такую рань совершить прогулку из камеры до его кабинета.

— "Видите ли нам известно, что некоторые из вас возмущены арестом. Была даже объявлена голодовка протеста. Между тем советская власть выдвигает против вас ряд очень веских обвинений. Мне поручено снять с вас допрос. Как ваша настоящая фамилия, товарищ Марк?" — прибавил он слегка смущенно, вертя в руках газету.

— "Вы у меня при аресте взяли несколько паспортов. Вам остается только выписать все фамилии".

Рыжик что то написал и снова спросил: "Сколько вам лет?"

И на этот вопрос я отказался отвечать.

Рыжик не то рассердился, не то смутился и сказал, потирая нервно руки: "Видите ли, товарищ, не хотелось вам об этом говорить, но вы меня к этому вынуждаете. В случае... ну, в случае печального исхода, это ведь неудобно..."

Я, признаюсь, до сих пор не понимаю, чего он хотел добиться своей неприкрытой угрозой. Я ответил, стараясь быть, как можно, проще и спокойнее:

— "Что-ж, если до "стенки" дело пойдет,

большой разницы не будет от того, сколько мне лет. Я буду на месте".

Рыжик заерзал на стуле, полу-приподнялся, посмотрел в сторону и сказал глухо: — "Я вас, конечно, понимаю, товарищ, что вы отказываетесь принципиально от дачи показаний, но обвинения против вас тяжелые: подготовка свержения советской власти, связь с Махно и подрывная работа экономической жизни страны".

Отвечать Рыжину, полемизировать с ним я считал для себя недостойным делом. На собрании, которое было у нас, работников организации "Набат", за неделю, приблизительно до ареста было решено, в случае изменнического нападения советской власти на нашу организацию, от дачи показаний отказываться. Я сделал шаг к выходу. Рыжик позвонил, явился начальник конвоя и меня увели обратно в тюрьму.

Теперь, пожалуй, я могу ждать очередного вызова к "стенке".

5 декабря 1920 года.

Коммунистическая местная печать все еще уделяет нам много внимания. Ругают, кто во что горазд, как по приказу. В тюрьме атмосфера такая, что вот-вот ночью могут ворваться пьяные палачи и устроить кровавую баню. В городе все еще продолжают погоню за анархистами и симпатизирующими.

Кормят нас скверно. Прогулок никаких, а камеры переполнены. Единственным нашим развлечением служат передачи с воли, чтение газет с дружным, искренним, безобидным хохотом при "крепких" местах. Только иногда ктонибудь не выдержит и ответит душу нецензурным восклицанием, когда уж не терпек становится от кампании безудержной клеветы.

По ночам в нашей камере открывается импровизированный клуб. Воспоминания, порой, очень интересные.

(Продолжение в след. номере).